

С. Максимов

**Денис  
Бушуев**



Сергей Максимов

**Денис Бушуев**

Издательство «РИМИС»

1950

УДК 82-311.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Максимов С. С.**

Денис Бушуев / С. С. Максимов — Издательство «РИМИС»,  
1950

«Сергей Максимов всецело принадлежал России. Там его нынче не знают, но когда-нибудь узнают. Книги его будут читать и перечитывать, над его печальной судьбой сокрушаться... Большая и емкая литературная форма, именуемая романом, для Максимова – природная среда. В ней ему просторно и легко, фабульные перипетии развиваются как бы сами собой, сюжет движется естественно и закономерно, действующие лица – совершенно живые люди, и речь их живая, и авторская речь никогда не звучит отчужденно от жизни, наполняющей роман, а слита с нею воедино... Короче говоря, „Денис Бушуев“ написан целиком в традиции русского романа». (Ю. Большухин) «„Денис Бушуев“ – семейно-бытовой роман, действие которого разворачивается на Верхней Волге в годы коллективизации и сталинских репрессий. В центре повествования, все нити которого стянуты к селениям на берегу великой русской реки, драматичные судьбы семей Бушуевых, Ахтыровых и Белецких... Автор показывает, как происходило прозрение людей. Остроту и занимательность фабуле романа придает захватывающая любовная интрига». (В. Н. Запевалов)

УДК 82-311.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© Максимов С. С., 1950

© Издательство «РИМИС», 1950

# Содержание

Часть I	6
I	6
II	9
III	13
IV	18
V	19
VI	22
VII	26
VIII	28
IX	33
X	35
XI	40
XII	44
XIII	47
XIV	50
XV	51
XVI	55
XVII	58
XVIII	62
XIX	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69



## **Сергей Максимов Денис Бушуев**

За содействие в подготовке книги к изданию выражаем искреннюю благодарность Редлиху Андрею Романовичу, литературному критику, художнику, общественному деятелю, редактору издательства «Посев» (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Текст печатается по изданию: Денис Бушуев: Роман / Сергей Максимов. – Посев: Франкфурт-на-Майне, 1974. – 472 с.

© Оформление, составление. Издательство РИМИС, 2016

## Часть I

*– Ты, Маня, вчера Дениску из воды вытащила? – наконец глухо спросил он, подергивая губой. Она молчала.*



### I

Всю ночь шел дождь. На рассвете же точно языком слизало тучи, и жидкий туман закрубился над Волгой. Солнце поднималось, и белые стены домов розовели. На Молочной горе звонко застучали колеса телег о булыжник мостовой; широко, басисто, с утренней хрипотцой заголосили пароходы. Высоко в небе, возле нелепых бескрестных куполов Ипатьевского монастыря черными хлопьями закружились галки. Сверкая голыми икрами, быстро зашагали на базар по выщербленным тротуарам неряшливые, нечесанные женщины с корзинками и бидонами в руках; на ходу здоровались, на ходу переругивались окающим волжским говорком. Голодные собаки уже бегали по берегу, рылись в помойках под откосами, обнюхивали ящики с кладью, уложенные на хрустком гравии возле пристаней. Грязные, невыспавшиеся грузчики, наскоро ополоснув в реке лицо и руки, лениво натягивали на плечи ремни «подушек» и, мрачные, вялые, позевывая, спускались по мокрым трапам в трюмы пароходов. Пахло смолой, дымом и прохладной речной свежестью...

Мустафа Ахтыров, приказчик из Татарской слободы, стоял на широком трапе, шедшем с берега на пристань, и наблюдал за погрузкой товаров. Высокая фигура его, кожаный портфель, до блеска начищенные сапоги и брюки-галифе внушали грузчикам уважение – проходя мимо приказчика, они ускоряли шаг, побрякивали и молодецкато встряхивали грузом на спине. Но Мустафа мало обращал на них внимания. Черные глаза на горбоносом лице смотрели тускло и безразлично поверх голов грузчиков куда-то за Волгу, в белесую дымку тумана. Странное чувство, появившееся еще вчера днем, когда он бесцельно бродил по городу, ожидая накладной на товар, не проходило, а, наоборот, – все больше и больше беспокоило. И он никак не мог понять, что это было за чувство. То нарастая, то пропадая, это странное чувство накатыва-

лось, как волна, тяжело, мучительно, захлестывая и голову и сердце. Если это происходило на улице, Мустафа ускорял шаг, вздрагивал всем телом и вдруг быстро оборачивался. Но взгляд его встречал равнодушные лица прохожих, пыльные тополя и серые заборы провинциального городка.

– Раз-два! вз-зяли!

– Еще разик! Вз-зяли! – весело вздыхали грузчики, вкатывая на трап тяжелую бочку.

Как день постепенно входил в свои права, так и они постепенно загорались работой и входили в привычный, ладный темп. Синие, красные, серые рубахи их, заплатанные, разорванные на локтях и плечах, уже взмокли от пота и становились хрупкими и ломкими от тонкой человеческой соли. Голые плоские ступни босых ног твердо и тяжело шаркали по занозистым доскам трапа и мягко, ласково шлепали по гладкой шпаклеванной палубе маленького пароходика «Товарищ». Двадцать копеек с тонны! Двадцать копеек за тысячи шагов вниз и вверх по трапу с тяжелым грузом на спине! На карнизе дебаркадера – выцветший от времени плакат: «Досрочно выполним план грузоперевозок!»

– О-ох! О-ох! Еще раз – взяли! – несло по берегу.

– Мустафа Алимич! Посторонитесь! Как бы того... ноги вам не отдавить! – крикнул Ахтырову молодой веснушчатый грузчик с колечками волос, прилипших к мокрому лбу.

Ахтыров поднялся по трапу на пристань, прошел на корму и сел там на деревянный толстый кнехт возле кучи канатов и тросов. Парная зеленоватая вода с радужными кругами нефти тихо плескалась о борт дебаркадера, качала на приплеске щепочки и набухшую сосновую кору. Две трясогузки, взмахивая хвостиками, прыгали по лавкам затонувшей завозни, привязанной к пристани. Белокурый мальчишка, сидевший, свесив ноги, на борту с удочкой в одной руке и с воблой – в другой, покосился на Ахтырова и негромко попросил:

– Ты, дяденька, не больно шуми... вишь, я рыбу ловлю. Рыба – она шум не любит, она все слышит...

– Не-е... я тихо буду сидеть, – улыбнулся Мустафа и осторожно поставил ногу на кучу цепей, стараясь не звякнуть ими.

Наблюдая за мальчиком и за поплавком, он как-то отвлекся, и странное, беспокоящее чувство снова отхлынуло, уступив место мыслям о брате и о его жене. Последний разговор с Манефой убедил его окончательно, что Манефа Алима не любит, что брат напрасно надеется на то, что когда-нибудь она полюбит его. Ах, как права была их покойная мать, предупреждая Алима не жениться на русской, татарин должен жениться на татарке. Разве мало хорошеньких девушек-татарок в слободе? Разве свет клином сошелся на русской? Но, с другой стороны, Мустафа понимал брата: в этой русской было что-то такое притягательно-красивое, что, увидев ее раз, трудно было не думать о ней, не желать ее... Два года жизни бок о бок с ней, вернее, возле нее и брата привели к тому, что Мустафа последнее время стал ловить себя на нехороших мыслях, на том, что он подолгу следит за Манефой, когда она одна, что в большую, искреннюю любовь к брату стало вклиниваться какое-то другое, темное, нехорошее, ревнивое чувство. Это было страшно. Страшно было и то, что Манефа, кажется, перехватила несколько его взглядов и разгадала его мысли. И с тех пор стало ему казаться, что в каждом движении, в каждом взгляде Манефы сквозило одно и то же, презрительно-насмешливое: «Ты меня тоже любишь, а я ни тебя, ни брата твоего не люблю». Это тянулось долго, мучительно долго. Мустафа не мог даже себе признаться в том, что он ее любит. Он старался реже бывать дома и наконец, под разными предлогами, стал ночевать то в одном месте, то в другом. И это-то его и убедило, что он ее любит. Так дальше продолжаться не могло, надо было что-то предпринимать срочное, сильное, что бы положило разом конец всему. И он решил уехать из Татарской слободы куда-нибудь подальше, в Казань или Астрахань. Но в тот день, когда было принято это решение, одно маленькое обстоятельство дало совершенно другой оборот событиям. Обедали вдвоем: он и Манефа, Алим задержался в поле. Не глядя на Манефу, он сказал, что встретил прия-

теля в городе и тот ему предложил выгодную работу в Астрахани. Через неделю он, Мустафа, вероятно, уедет. Она положила ложку на стол и тихо сказала: «Это неправда. Никакого приятеля ты не встречал и никуда ты не уедешь». «Нет, я уеду», – повторил он. – «А я не хочу, чтобы ты уехал. Слышишь? – твердо сказала она и, встав, вышла из кухни, на ходу бросив: Мне страшно... одной». Он долго смотрел на неплотно прикрытую дверь, прислушиваясь к шагам и шелесту платья в горнице. «Маня!» – позвал он. Она не ответила, и он понял, что ему надо остаться, он понял, что нужен, что с этого момента он навсегда и крепко связан с Манефой какими-то неувимыми, тонкими и жгучими нитями.

Внезапно знакомое, острое, беспокоящее чувство новой горячей волной захлестнуло его. Он вздрогнул, дернул локтем, как бы инстинктивно защищаясь от кого-то, нога скользнула по куче цепей и гулко стукнула о палубу. Мустафа резко повернулся.

Все так же сновали по трапу грузчики, но быстрее, ловче, все ускоряя ритм работы. Все так же кружились черными хлопьями галки над бескrestными куполами собора, и только на берегу, на самом приплеске появилось новое лицо. Это была Любка, гуляющая девка с Молочной горы, утеха грузчиков и матросов. Она шла по хрустящему гравию в стоптанных парусиновых ботинках, в драной черной юбке и, высоко вскидывая острые колени, хрипло пела:

...Ах, вот сию я в одиночке,  
В тюрьме встречаю я зарю.  
И с рук батистовым платочком  
Еще не стерла кровь твою...

Молодой грузчик, тот самый, что крикнул Мустафе «посторонитесь» зацепил проволочным крюком Любку за плечо и, под дружный хохот, притянул ее к себе.

– Любаша! Радость ты моя! Иди ко мне, я тя погрею...

Появление Любки почему-то неприятно подействовало на Мустафу, точно она чем-то подтверждала основательность его беспокойства. Он схватил портфель и шумно поднялся.

– Дяденька... я же просил не стучать, – захныкал мальчик.

– А ну тебя к дьяволу! – обругал его Мустафа и торопливо зашагал на пароход.

А за спиной его хохотали грузчики, потешаясь над Любкой с Молочной горы.

## II

Когда Манефа внесла в горницу огромный букет жасмина и поставила его в простую глиняную крынку на стол, то показалось, что в комнате стало светлее и чище. Несколько розово-белых лепестков упало на скатерть, и Манефа не убрала их, оставила на месте. Она подошла к окну и настежь распахнула рамы.

За садом, круто спускавшимся к берегу, катилась Волга. Окрашенная мягким красновато-желтым закатом, она была тиха и спокойна. Противоположный «горный» берег с березовой рощей, крутыми глинистыми обрывами, с красивым, утопающим в зелени и сверкающим красными железными крышами селом Отважным точно повторялся в воде, сливаясь со своим отображением в одну стройную, симметричную, узорчатую ленту. Курлыкая, пролетали редкие чайки, шумели грачи на березах и ровно и громко шлепал плицами пассажирский пароход.

Манефа облокотилась на подоконник. Серые глаза с какой-то трогательной нежностью смотрели на Волгу. Ах, как она любила свою реку! Всегда любила: и тихую, и ветреную, и бурную, и в солнце, и в дождь... Слушая в детстве рассказы отца о Туркестане, она спросила один раз: «А Волга там шире, чем у нас?» И когда услышала в ответ, что Волга там не протекает, она была так удивлена, что невольно воскликнула: «А как же там люди-то живут? Как же они без Волги-то живут?» Это было в детстве. Теперь же, когда ей было без малого двадцать лет, из которых два года тяжелой супружеской жизни с нелюбимым человеком притупили многое в ней, любовь к Волге не только не ослабела, а наоборот, стала проникновеннее, глубже и теплее. То, что не добавала жизнь, восполняла великая река.

Замуж вышла она нелепо, и виной этому был ее пылкий и противоречивый характер. Семнадцати лет она влюбилась в сына волжского капитана Сенечку Груздева, молодого паренька из села Отважного, человека доброго, мягкого и слабовольного. Говорят, что любовь иногда рождается не там, где ее больше всего ожидают, то есть в сходстве душ и характеров, а там, где нужно дополнение одного характера другим. Может быть, именно потому, что Сенечка являлся полной противоположностью Манефы, девушки сильной, твердой и далеко не доброй, – она и полюбила его. Овдовевшая к этому времени тетка Таисия – мать Манефы – была не прочь сбить дочь с рук и ничего не имела против ее брака с Сенечкой, но капитан Груздев поднялся на дыбы и ни за что не хотел дать согласия на женитьбу сына, ссылаясь на то, что Сенечке «надо еще малость подучиться». Сенечка же боялся идти против воли отца и мучался в догадках, как ему поступить. В это время за Манефой стал усиленно ухаживать Алим Ахтыров, председатель только что созданного колхоза в Татарской слободе. Он подстерегал Манефу где только мог и не давал ступить шагу, надоедал своей любовью.

Однажды, измученная нерешительностью своего возлюбленного, она приказала Сенечке ответить ей определенно: будут они мужем и женой или нет? и дала срок для ответа – неделю, угрожая, что в случае отказа она выйдет замуж за Алима Ахтырова. Бедный Сенечка попробовал еще раз поговорить с отцом, но капитан, вместо ответа, предложил ему немедленно собраться в дорогу – ехать в Рыбинск и держать экзамен в речной техникум на судоводительское отделение. Когда Сенечка, заикаясь и путаясь в словах, передал Манефе окончательное решение отца, она, сдерживая гнев, довольно спокойно сказала, делая последнюю попытку пробудить в своем возлюбленном мужчину: «Ну что ж, Сеня, поженимся без отцовской воли...» Сенечка покраснел, опустил глаза и забормотал что-то насчет того, что можно было бы еще повременить. Тогда Манефа пришла в бешенство и крикнула: «Тряпка ты! Размазня ты, а не человек... Я же тебе сказала, что выйду за Алима!» – «Так ты же его не любишь!» – чуть не плача, запротестовал Сенечка. – «Ну и что ж, что не люблю, а все равно выйду, тебе назло!»

Возможно, что эта угроза осталась бы только угрозой, если бы Манефа успела остыть до встречи с Алимом, но случилось так, что, возвращаясь со свидания с Сенечкой, она встретила

на улице Алима и, под горячую руку, брякнула ему, что согласна стать его женой. Обезумевший от счастья, Алим помчался к тетке Таисии и торжественно объявил ей решение дочери. Настала очередь прийти в бешенство матери. Она прогнала Алима и, топая на дочь ногами, заголосила: «За татарина не разрешу замуж идти! Хоть ты лопни! Бога побойся! Я староверка и Бога чту! Это ты, безбожница, забыла про него!..» Но бес противоречия уже крепко засел в сердце Манефы, и протест матери только еще больше подогрел ее и упрочил взбалмошное решение. Свадьбу она назначила скоропалительную – через десять дней, все еще втайне надеясь, что Сенечка пренебрежет отцом и появится в решительную минуту, как спаситель. Пошумев дня три, тетка Таисия вдруг притихла, и совершилось нечто странное: она перестала перечить дочери и дала свое согласие на брак с Алимом. Впрочем, необъяснимого в этом ничего и не было, ибо религиозность тетки Таисии как-то легко уживалась с лицемерием и расчетливостью – отличительными чертами ее злобного и неуравновешенного характера, – и, сообразив, что из брака дочери с председателем колхоза можно, при известной обстановке, извлечь пользу, она стала усердно готовиться к предстоящей свадьбе. Сенечка же как в воду канул.

При таком положении дел отступать уже было поздно, свадьба состоялась, и Манефа переехала из Отважного в Татарскую слободу, в дом мужа. Вскоре пришла и расплата за буйный нрав: жизнь с нелюбимым человеком превратилась для Манефы в муку. Зато тетка Таисия души не чаяла в зяте и не знала, чем угодить ему. Алим же угодил ей сразу, на другой день после свадьбы подарив прекрасную вологодскую корову. Осенью, сырым туманным утром умер Сенечка, схватив воспаление легких. Алиму стало спокойнее жить...

– Маня!

Это был его голос.

Она не обернулась. Яркие, как сурик, губы крупного рта чуть дрогнули. Полная загорелая рука поднялась и откинула прядь курчавых темных волос, упавших на лоб.

– Чего тебе?

– Чаю бы пора испить... Поставь самовар.

Он стоял за ее спиной, и она слышала его сильное прерывистое дыхание. Она знала, что он волнуется, как волнуется всегда, когда начинает с ней говорить.

– Я очень устал сегодня... За весь день не присел ни разу.

– Ты-то что: ты не сеешь и не пашешь, только командуешь. А мужики, наверно, еще шибче устали, – не удержалась Манефа.

Он помолчал и тихо попросил:

– Оставь, Маня... Чего ты меня колешь?

Он постоял, вздохнул и тяжело пошел в кухню, скрипя половицами. Манефе вдруг сделалось жалко мужа. Она резко оторвала от подоконника полное крепкое тело и повернулась.

– Ты куда?

– Пойду... сам поставлю...

Он стоял в дверях, расставив ноги в кожаных сапогах и поглаживая короткими пухлыми пальцами бритую желтоватую голову. Черные смородиновые глаза смотрели на Манефу робко, просяще.

Манефа прошла мимо него в кухню, поставила на маленькую скамеечку возле русской печи самовар и стала насыпать угли.

– Наколи, Алим, лучину... – сказала она мягко, примирительно.

Алим сверкнул в улыбке белыми зубами, быстро взял с шестка косарь, достал из-под печки сухое березовое полено, уселся на полу и принялся колоть лучину. Тонкие щепочки под сильными руками ленточками падали на крашенные масляной краской доски пола. Как чуткий человек, он уловил в голосе жены теплые нотки и, искоса поглядывая на нее, старался определить, надолго ли хватит ее расположения.

– Знаешь, – сказал он деланно весело, – я сегодня встретил деда Северьяна из Отважного, у него есть дрова. Я заказал ему две сажени – завтра привезет.

– Почем же он просит?

– Двадцать три рубля с сажени.

– Дороговато.

– Шут с ним. За лето высохнут, к осени как порох будут... Тяжелая жизнь, – добавил он неожиданно для самого себя и тут же понял, что добавление это не к месту и вовсе было не нужно. И он решил объяснить:

– Комсорг рассказывал сегодня, что под Нерехтой, в каком-то селе, председателя колхоза сожгли со всей семьей... Так и сгорели все в доме. Ночью. Кулачье, наверно.

– Коль наганами будете в колхозы людей загонять, так и всех вас пожгут, – предупредила Манефа и подумала, что Алим не зря ей это рассказал, что вот-де какая наша работа опасная, а ты меня не жалеешь, не любишь...

– Ничего, всех не пожгут и не перережут. Дай-ка, Маня, спички.

Алим понял, что сделал ошибку, и переменял разговор.

– Мустафу скоро завоём сделаем. Маковкин ворует сильно, жалуются колхозники.

– Это ты мне к чему рассказываешь? – насторожилась Манефа.

– Да что ты все – «к чему, к чему»? – улыбнулся Алим. – Захотелось, и рассказываю. Иль тебе и про Мустафу слушать не интересно?

– Оставь ты его. Мустафа славный, хороший человек.

– А я что – говорю, что он плохой?

Манефа опустила в самовар зажженную лучину, пристроила трубу и стала собирать на стол.

– Чего он не идет? Пора бы уж, вечер, – сказала она.

– Придет. Никуда не денется.

Алим положил косарь, сел на табуретку и не спускал глаз с Манефы, двигавшейся от горки с посудой к столу. Не выдержал, встал, подошел к ней сзади, обнял.

– Маня...

– Пусти, Алим!

– Опять гонишь?

Манефа нахмурилась.

– Пусти, Алим. Не время обниматься.

– У тебя всегда не время... Когда же время-то будет? Когда же время-то для меня придет? Я тебе муж – или кто?.. – дрогнувшим голосом горячо проговорил он.

– Может, придет, а может, и вовсе не придет, – усмехнувшись, сказала она, чувствуя, как поднимается знакомая беспричинная ненависть к мужу.

– Не придет? Говоришь, – не придет? – тихо пробормотал он, заводя ее руки за спину и стараясь поцеловать в шею.

Она рванулась.

– Пусти, Алим!

Он впился пухлыми губами в ее шею и еще крепче сжал руки.

– Пусти, дьявол! Я тебя ненавижу! – не помня себя, крикнула Манефа и вырвалась из его рук. Он схватил было ее за плечи, но она опять увернулась. С треском разорвалась кофточка, покатались на пол пуговицы. Покрасневшие глаза Алима сверкнули тяжелой злобой, он нагнулся, поднял косарь и взмахнул им над головой жены. Она тихо вскрикнула, присела и зажмурила глаза.

Но косарь не успел опуститься на голову Манефы. Кто-то стрелой метнулся с порога и схватил Алима за руку, повиснув на ней. Это был Мустафа.

– Ты... с ума сошел... – прерывисто проговорил он, вырвав косарь и швырнув его в угол к рукомойнику.

Алим схватил брата за ворот зеленой гимнастерки.

– Чего тебе надо, Мустафа?

– Не тронь ее!..

– Ты кто? Кто ты такой? – загремел Алим и, встряхнув руками, ударил брата головой о кирпичную печь. Он был ниже Мустафы и, сверкая глазами, смотрел на него снизу вверх. Горячая татарская кровь забила ключом в жилах обоих братьев. Мустафа замахнулся увесистым кулаком, чтобы сокрушить брата, но вдруг тихо опустил руку, обмяк весь как-то, оттолкнул Алима и подошел к Манефе.

Она сидела на полу, обняв колени. Черные короткие волосы, растрепавшись, закрывали лицо. Мустафа тронул ее за плечо. Она быстро вскочила на ноги, огляделась. Прищуренные серые глаза смотрели без всякого испуга, чуть насмешливо. Правой рукой она старалась прикрыть обнаженную грудь – кофточка была разорвана до живота. Она совсем не испытывала испуга, его не было даже и тогда, когда косарь взвился над ее головой. Она ощущала лишь удивление. Таким она видела Алима первый раз в жизни, и первый раз за два года супружества Алим занес на нее руку. И в то же время она сознавала свою вину и понимала Алима. Как ни сыро дерево, но если под ним раскладывать каждый день костер, то оно, в конце концов, загорится. Она не могла не видеть, что с каждым днем Алим, прежде мягкий и тихий, все больше и больше превращался в нервного, злобного и неудовлетворенного человека. Огонек, который она же медленно и настойчиво разжигала, вспыхнул ярким пламенем, чуть не стоившим ей жизни. И удивление сменилось ясным и четким осознанием своей вины. Но не в том смысле, что она виновата, а в том, что она не могла поступать иначе, не любя мужа. Война велась с первого дня свадьбы, но носила скрытый характер, теперь же Алим объявил ее, но заставила его объявить она. А раз так, раз война объявлена им, то пусть он, как явный зачинщик, и понесет всю тяжесть вины и будет за все ответчиком. И, ох, как дорого обойдется ему необдуманное, торопливое объявление этой войны!

– Что же вы не добились друг друга? – тихо спросила Манефа и вышла в горницу.

Мустафа провел ладонью по затылку – на руке заалела кровь.

– Как ты меня крепко саданул... – сказал он брату и примирительно улыбнулся.

Алим вздохнул и отвернулся к окну.

### III

Полдень. Над Татарской слободой по голубому блюду неба расплескались мыльные хлопья облаков. Увязая в буром суглинке, лениво бредет по берегу Волги стадо коров. Танцуют волны зноя; вьются, тихо жужжат оводы. Бесконечно медленно плывет по стеклянной зеленоватой воде длинный плот; слышно, как негромко переругиваются на нем люди.

Алим Ахтыров неторопливо опрокидывает в рот рюмку водки, корчит гримасу, – не то удовольствия, не то отвращения, – щелкает пальцами и закусывает селедкой. Жарко. Нестерпимо жарко. И от палящего нещадно солнца, и от выпитой водки. Широкое, гладко выбритое лицо Ахтырова покраснелось и покрылось мелкими капельками пота. Ворот защитной гимнастерки расстегнут, хромовые сапоги сняты и аккуратно поставлены на траву возле бочки с тепловатой и грязной водой. Напротив Ахтырова сидит, согнувшись, в глубокомысленном созерцании прозрачной влаги в рюмке Гриша Банный. Он очень худ и тощ, голова его напоминает желтую дыню со странным нежно-красным хвостиком внизу – бородкой. Оба сидят уже два часа под широколистым кленом в саду Ахтырова, и оба выпили уже по восьмой. Гриша Банный с удовольствием бы уснул, но мешают мухи и сознание, что неудобно спать, когда хозяин дома еще бодрствует...

Гриша Банный и Алим ровесники, более того – они родились в один день.

– Поздравляю вас, Алим Алимич, с сорокалетием, так сказать, жизненной деятельности... – в девятый раз поздравляет приятеля Гриша Банный и поднимает большую рюмку.

– Пей на здоровье, Гриша, – рассеянно отвечает Алим, – и тебя, друг, с сорокалетием... Молодость-то прошла, друг Гриша, прошла.

– Оптический обман-с...

– Чего?

– Н-нет, это я так... на свои туманные мысли...

Помолчали. Над садом пролетела стайка диких уток. Гриша сладко сощурился на бочку с водой, скривил бескровные губы маленького рта и вдруг во все горло хриплым тенорком запел:

О Боже, Боже, согрешила  
Дочь благородного-о отца-а-а...

– Тише, Гриша, тише... – поморщился Алим. – Скажут, у председателя колхоза с утра пьянство... Помолчи.

Гриша покрутил головой и замолк.

– М-мухи, чёрт бы их драл... – вяло заметил он через некоторое время.

Алим погладил ладонью круглый побритый затылок и тихо, неожиданно сообщил:

– Одиночество чувствую, Гриша... Одиночество.

– Почему? – удивился Гриша, приподнимая нежно-красную бородку. – А жена? Манефа?

Алим не ответил, кусая белыми зубами травинку.

– Оч-чаровательная жена у вас, Алим Алимич... Не жена, а весенний рассвет, лунный блик на черном фоне современной жизни, оптический обман-с... Обладать такой женщиной – да ведь это неземное счастье! А вот я, при моей весьма легкомысленной и пустяшной жизни, всегда как-то на своем пути встречал женщин с весьма сомнительными достоинствами...

Он откинулся на спинку тонконового венского стула, достал из грязной помятой пачки дешевую папироску и продолжал:

– При наличии нормальной нравственно-моральной жизни... гм... такая женщина может безусловно составить счастье мужу. Философ-самородок Отроков говорил насчет супружеской жизни так... гм... как это он говорил?... – Но позабыв сентенцию философа-самородка, Гриша

безнадежно махнул рукой и чуть не съехал со стула. С огромными усилиями он выпрямился и закурил.

Алим наблюдал за ним долгим пристальным взглядом.

– Вот смотрю я на тебя, Гриша, и не пойму: что ты за человек? А ведь знаю тебя давненько... Говоришь ровно бы по-ученому, много знаешь, много видел, а человек так себе: ни богу свечка, ни чёрту кочерга.

– Верно-с, Алим Алимич. Станный я человек, даже сам на себя иногда удивляюсь, до чего я странный. А ведь был я, доложу вам, и в учении... Физику изучал... Но ранняя склонность к разного рода порокам-с помешала мне сделаться, так сказать, полным человеком. Теперь все уже давно утрачено, и есть только пародия, так сказать, на человека, без фамилии... Фамилия заменена кличкой Банный-с... есть только Гриша Банный.

Он умолк, опустив голову-дыню.

– А на войне ты, Гриша, был?

– Был, был и на войне. Но солдат я ничтожный и чрезмерно робкий. Других убивать не могу, но и себя берегу. Хотели меня один раз расстрелять за то, что перед атакой я от ужаса в отхожее место спрятался, но признали слабоумным и ограничились одним выговором-с...

– А я, брат, и в мировую, и в гражданскую в тылу отсиделся.

– Гм... своего рода искусство-с! У меня в Промкоопсбыте, в Кинешме, приказчик был... Так вот, доложу я вам, до чего искусник был цыплят воровать. Ах, мастер! Утянет, и все шито-крыто. Но кроме цыплят ничего не брал. Искусство своего рода...

Гриша Банный закашлялся и сухими длинными пальцами тронул горло. Белесые навывкате глаза увлажнились, и прозрачные ноздри тонкого носа несколько раз ёкнули, как печенка у усталого коня.

– Слабость иногда чувствую, Алим Алимич, слабость во всем организме, – пожаловался он.

– Пить тебе совсем нельзя, Гриша, – строго сказал Алим и, подперев щеку рукой, тихо замурлыкал какую-то песенку по-татарски, но оборвал ее на полуслове и снова повернулся к собеседнику.

– А вот скажи ты мне, Гриша, где ты это с науками познакомился?

Гриша быстро выпрямился и уклончиво ответил:

– Одну науку постиг в одном месте, другую – в другом; в разных местах. С физикой, например, в двадцатом году...

– А ну, расскажи о физике, что ли... – грустно попросил Алим, – мне сейчас все равно, что слушать. О физике, так о физике.

– Был я одно время, доложу я вам, Алим Алимич, заведующим баней, воинской, понятно, – охотно начал рассказывать Гриша. – Кстати, кличка моя – Банный – произошла не оттого, что я был в должности воинского банщика, как некоторые ошибочно думают, а потому, что проживаю я в течение многих лет возле колосовской бани, как вам известно; это я так, между прочим сообщаю... Теперь возвращаюсь к теме о физике. Ну-с, в бане той красноармейцев мыли. С позволения вашего, вшей и всяких там других паразитов специальным паром уничтожали. Ну, тоска, знаете, смертная: вши да пар. А я возьми да и начни физику изучать... Учебник достал, Поморцева М. М. «Некоторые занимательные физические опыты». И впервые познакомился с удивительными законами оптики и вообще физики... Потом и пособия достал: за осьмушку махорки выменял у красноармейца увеличительное стекло, называется – лупа... Ну-с, солдатики моются, значит, а я возьму экземпляр натуральной вши-с (тут же у них в белье и достану) и сквозь лупу смотрю на их лапки и хвостики. Главное, меня интересовало: чем же они так больно кусают...

Но заметив, что Алим его совсем не слушает, Гриша умолк, почесал переносицу острым, как клюв совы, ногтем и смиренно сообщил:

– Я сегодня всю ночь труды товарища Карла Маркса прорабатывал... Оптический обманс, доложу я вам.

– Что такое? – нахмурился Алим.

– Нет... Это я так... На свои туманные мысли.

С клена упала в бочку с водой желтая гусеница. Барахтаясь, она старалась подплыть к краю и вползти на доски.

– Вот так и я, – усмехнулся Алим.

В конце тропинки, сбегаящей по саду к Волге, показалась высокая фигура Мустафы. Он легко толкнул калитку, вошел и, покачивая широкими плечами, стал подниматься в гору. Братья не виделись со вчерашнего вечера. Мустафа подошел к столу, улыбнулся щербатым ртом и коротко бросил:

– Здорово, честная компания.

Алим кивнул ему головой, Гриша же встал, пошатнулся и изобразил что-то вроде поклона.

– Водочку пьем? – осведомился Мустафа и присел на обрубок бревна. – Ну и жарница! Продыхнуть некуда.

– Не угодно ли рюмочку, Мустафа Алимыч! – предложил Гриша.

– Тут и без водки околеешь. Хотя – одну, пожалуй, проташу.

Алим молчал. Мустафа искоса наблюдал за ним. Он хорошо знал брата, знал, что Алим горяч, зол, но и отходчив. И он пытался угадать: отошел уже Алим или нет. Лично ему, Мустафе, вчерашняя сцена уже казалась каким-то кошмарным сном, дикой вспышкой, недостойной ни его, ни брата. И он с горечью заметил, что Алим еще дуется, еще прячет глаза от него...

– А я в лабазе был. Опять ящик с печеньем пропал. Кладовщик – на грузчиков, грузчики – на кладовщика... чёрт их разберет, – огорченно проговорил Мустафа.

– Ни кладовщик, ни грузчики не виноваты. Маковкин, наверно... сам зав и утянул, – глухо сказал Алим.

Мустафа наклонил голову, пытаясь заглянуть в глаза Алимину, но снова не поймал взгляда брата.

– Я тоже так думаю... Наверно он. Знаешь, я даже в лицо это ему сказал. Эх, как он поднялся! Схватил...

Мустафа вдруг умолк. Он хотел было рассказать, как Маковкин схватил в бешенстве железный шкворень и бросился на него, на Мустафу, и как кладовщик отнял у Маковкина шкворень и помирил их. Он хотел было все это рассказать, но сцена в лабазе так напомнила вчерашнюю их, братьев, ссору, что он не решился на это, и только сейчас, когда уже почти рассказал ее, понял, как нелепо похожи они.

– Схватил... Что схватил? – спросил Алим и первый раз взглянул на брата. Взгляд его был угрюм и непонятен.

– Ничего... так, ерунда... – замялся Мустафа и вдруг спросил: – Манефа дома?

Алим вздрогнул, вытер потное лицо яркой бархатной феской и тихо ответил:

– Нет... Ходит где-то...

Мустафа взял положенную Алимом на стол феску и нахлобучил ее себе на голову.

– Положи феску... – попросил брат.

Мустафа облокотился на стол и мягко сказал:

– Алим, чего ты злишься? Ну поругались и хватит. Брось, Алим. Ведь мы братья с тобой. Ну, я вот уеду скоро... А ты подумай, что бы вчера получилось, если бы я вовремя не вошел... Ты только подумай, Алим... А ты сердисься.

Алим посмотрел на мирно уснувшего Гришу и, усмехнувшись, ответил:

– А ничего бы не получилось... особенного.

Мустафа быстро повернулся и молча пошел в дом. Через минуту он возвратился с байковым одеялом в руках.

– Ты куда? – спросил Алим.

– В малинник, спать... А жара спадет – пойду на пристань груз принимать, – ответил Мустафа, прошел под гору в конец сада и скрылся в кустах малины.

Гриша Банный, приоткрыв один глаз, долго следил за его фигурой и, снова зажмуриваясь, издал сладкий звук, похожий на зевок. Алим толкнул его под столом ногой.

– Гриша! Спишь?

– Н-нет... Что вы-с... – встрепенулся Гриша. – Так, в сладких мечтаниях пребываю-с... Об утраченной молодости, главным образом...

Алим бодро потрянул головой, точно отбросив какую-то мысль, и выпил рюмку водки.

– Гриша, верно, что ты незаконнорожденный сын князя Сумарокова, что имение держал под Костромой? – весело осведомился он.

– Слухи-с, наглые слухи-с, имеющие целью умалить мое пролетарское достоинство, – возразил Гриша. – Папаша мой был, с позволения сказать, беспутной фигурой на Мильонной улице в Нижнем Новгороде... крючник. Двадцать пудов один из трюма выносил.

– Слушай, Гриша, – наклонясь и понижая голос, уже серьезно спросил Ахтыров, – а женат ты был?

– Н-нет... не был... Так, в незаконных связях, были случаи... Страдал через это непомерно... Особенно телесными повреждениями... Мужья бывают, доложу я вам, чрезвычайно сильны и злы, как цепные псы-с...

Ахтыров с силой ударяет по столу кулаком. Вдребезги разбивает тарелку. Гриша Банный вскакивает и, выгнув спину нотным ключом, описывает небольшой круг за кустами малины. Робко возвращается и боком подходит к столу.

Глаза Ахтырова наливаются кровью, вздуваются синие жилы на толстой шее.

– А ты скажи мне, Гриша: что делать, если жена тебя не любит, а ты ее... как... как мальчишка любишь, жить без нее не можешь... Часу прожить без нее не можешь, как рыба без воды... Что тогда делать, Гриша? Скажи – что?

Он задыхается и вопросительно смотрит на Банного, вращая покрасневшими белками.

– Не любит меня Манефа, не любит... И никогда не любила... А с первого дня свадьбы – ненавидит... Вот уж два года, как ненавидит лютой ненавистью... За что, Гриша? За что? А?

Гриша Банный осторожно садится на кончик стула, моргает белыми ресницами.

– Н-да... это дело сложное, – тихо говорит он. – Нужна привязанность... Нежность надо к жене больше проявлять...

– Ах, все это не то! – досадливо машет рукой Алим и спокойнее добавляет: – Не в этом дело... Мало, что ль, ей моей нежности... Хоть пруд пруди этой нежностью...

Гриша приободряется, – на память ему приходит маленькая историйка, и он немедленно приступает к ее изложению:

– Да-с... с женами много беспокойства. Самое главное, надо учуять, когда она к другому, так сказать, предмету потянется... Не пропустить именно этот момент, а то пойдут беды великие и великие неприятности, влекущие за собой иногда и публичное посрамление. Например, в двадцатом году мне пришлось наблюдать такую комбинацию: один полковой командир, удирая от поручика, который застал его, с позволения сказать, в постели с родной женой, – залез в бочку из-под дегтя... А был он, доложу я вам, в совершенно отвлеченном виде, то есть в одних кальсонах... Ну-с, сами понимаете: деготь черный, кальсоны белые...

Ахтыров вдруг дико рвет ворот защитной гимнастерки – с треском летят в стороны пуговицы – падает головой на стол и плачет тяжелым мужским плачем. Гриша Банный на этот раз не проявляет никакого испуга. Он пощипывает редкую бородку и несколько минут сидит неподвижно, наблюдая, как вздрагивают от рыданий плечи Алима; в белесых глазах Гриши вспыхи-

вает светлый голубой огонек, он тихо встает и, бесшумно ступая по траве босыми костистыми ногами, идет к калитке сада...

## IV

Мустафа долго не мог уснуть. Лежа на спине, он видел глубокое синее небо в темной рамке малинника. Несмотря на жару, оно казалось холодным и чужим. Перекликались в кустах птицы, шумели на берегу купающиеся дети. Мустафа слышал, как скрипнула калитка за Гришей Банным, слышал его робкие тихие шаги, потом слышал, как хлопнула дверь в доме и кто-то торопливо прошел вдоль забора снаружи сада. Минут десять спустя в сад вошел дед Северьян, высокий широкоплечий старик; он привез дрова и искал Алима. Мустафа не любил старика и на его вопрос о брате довольно грубо крикнул, что не знает, где Алим, и что пусть его ищет сам старик. Дед Северьян ушел. Мустафа остро и гнетуще почувствовал одиночество. Наступившая тишина не успокаивала, а давила, точно в круг над ним, образованный ветками малины, с холодного неба медленно спускался невидимый и тяжелый пресс.

– Да что за чёрт! – вслух выругался Мустафа и повернулся на бок. Волна знакомого странного беспокойства снова, как прилив, подкатывала к сердцу. Он заметил, что от нервного напряжения у него мелко задрожали кончики пальцев левой руки. Он сунул ее под грудь и прижал к земле всем телом. Почему-то вдруг ярко и четко вспомнилась Манефа в день ее свадьбы с Алимом. Она сидела в белом платье в конце стола, много смеялась, шутила с гостями, с ним, Мустафой, – и сразу, как ночь, мрачнела, когда ее руку трогал Алим. Эти внезапные переходы были так непонятны и нелепы, что гости потупляли глаза в тарелки, шушукались... Как невеста, она неприлично много пила, и неприлично показала гостям ее выходка под конец свадьбы. Она высоко подняла над головой чайный стакан и громко крикнула: «Выпьемте, гостечки дорогие, за девушек староверских, что с татарами начали родниться». Тетка Таисия брови нахмурила, шукнула на дочь: «Говори, да не заговаривайся, невестушка. А то из-за стола да за косыньки. Не посмотрю, что мужняя жена. Думай, что говоришь. Аль не по любви идешь?» Ухмыльнулась Манефа: «По любви, мамаша, по любви-заношухе да по моей бурлацкой волюшке». Опять потупились гости, переглянулись. «По любви – не по любви, а раз вышла – мужу уважение надо представлять», – прошамкала бабка Аграфена. Алим молчал, сверкая смородинными глазами. И никто не мог понять: видит он горчинку в свадебном пиру, или от счастья ослеп, или не желает видеть ничего, кроме невесты. Мустафа все тогда видел, и жаль ему было брата. Теперь же он понимал Алима, понимал, что ради такой женщины на все можно было идти: и на унижение, и на горе.

Вспомнилась ему и другая картина. Это было в Отважном. Мустафа – одиннадцатилетний загорелый мальчик. Он стоит, расставив ноги, и плачет. Дед Северьян держит его за плечо и легонько треплет за ухо. Мустафа плачет не от боли, а от испуга и обиды. Дед Северьян приговаривает: «Не лезь в чужой сад... не лезь. Люди трудом живут, в поте лица взращивают, а ты – воровать!.. Будешь еще?» На пригорке в отдалении стоит Алим. Он в синей рубашке и холщовых штанах, порванных на колене. «Отпусти его, дедушка, – просит Алим, – он не шибко виноват, это я его подбил...» Дед Северьян отпускает Мустафу и грозит пальцем Алиму: «И тебя когда-нибудь вздую... Только попадись...» А косарь-то, а косарь-то как он отнял у Алима.

– Да что за чёрт! – повторил опять Мустафа и плотнее завернулся в одеяло. Под одеялом было душно и темно. Горячей щекой плотно прижался к земле. Неровно, с перебоями стучало сердце. Внезапно где-то под землей он услышал осторожные, но твердые шаги, и беспокойство с такой силой обрушилось на него, что остановилось дыхание и омертвел, обессилел каждый мускул в теле. Он понял, что должен сейчас же, немедленно откинуть одеяло и встать...

– Не надо... – хотел крикнуть он, но яркий, ослепительный свет ударил его по глазам и смял сознание.

## V

Незадолго до Троицы дед Северьян отвез в Татарскую слободу и продал там две сажени дров, по полешку и по бревнышку наловленные за весну. Ловить казенные дрова из Волги запрещалось законом, а тем паче – продавать, все это вместе называлось «расхищением государственной собственности». Но закон законом, а жизнь жизнью, и дед Северьян сделал из этого промысла главную статью своего дохода. Сначала он ловил дрова для того, чтобы не покупать, потом стал ловить для того, чтобы продавать, а позже, этак лет десять назад, почувствовав в этом занятии некий спортивный интерес, стал сочетать приятное с полезным.

Выезжал раненько, чем свет. Тихо поскрипывая уключинами в густом тумане, поднимался вверх по реке до Песчаной горы – возле села неудобно: люди могут приметить – и начал бороздить Волгу вдоль и поперек. Кряхтя, чалил попавшиеся бревнышки за корму старенькой лодки, носившей незамысловатое название «Путешественник» (буквы «т» не было), и, когда солнце начинало подыматься над Заволжьем, а туман редеть, дед ехал назад в Отважное, старательно прятал добычу в кустах прибережного тальника, ставил лодку на место, притягивал ее цепью к огромной коряге, запирал, клал ключ в карман старого кителя, крестился и неторопливо шел в гору.

Несмотря на свои 79 лет, дед Северьян был силен и здоров. Росту был огромного, косая сажень в плечах, носил пепельную, «лопатовой» бороду и никогда не кланялся встречным первым. Не пил и не курил. В молодости, сказывали, и курил, и пил запоем. В молодости же, на гулянье в Татарской слободе, железной тростью выбили ему в драке четыре зуба и рассекли губу. На глубоком шраме волосы не росли, поэтому левый ус был длиннее правого и казалось, что одна половина лица больше другой.

Жену схоронил дед Северьян давно, года через четыре после свадьбы, пятьдесят лет с лишним назад. Из двух сыновей остался в живых только Ананий. Младший же, Михаил, утонул еще мальчиком, сбитый буксиром с баржи. Со старшим, Ананием-бакенщиком, жили по соседству, в миру и ладу. Ананию Северьянычу было 58 лет; маленький, тщедушный, с седенькой редкой бородкой, он выглядел старше отца.

Почти каждое утро отец и сын встречались на берегу. Отец ехал на дровяной промысел, сын – тушить бакена и вехи. Каждый садился в свою лодку. Расправляя веревочную путцу, сын тоненьким голоском осведомлялся:

– На охоту, стало быть с конца на конец, папаша, едете?

Дед Северьян хмурился, откачивая деревянным ковшом воду из лодки.

– Я, Ананий, не твои дрова ловлю, а казенные, потому это дело тебя не касается. А ты вот что: ты бы попозднее зажигал бакена, да пораньше тушил, керосину бы больше для хозяйства оставалось. Мне вот нечем лампу вчера разжечь было...

– А вам, папаша, стало быть с конца на конец, чего по ночам-то делать? Не канцелярию вести, не на счетах считать... как оно, это самое, стемнеет, так и спать ложитесь... Я вам на той неделе полбидончика отпустил, неужто все пожгли?

– Да что тебе, чёрту седому, казенный керосин, что ли, жалко? – гремит дед Северьян и сердито сталкивает лодку.

– Казенный-то он казенный, да во всем, стало быть с конца на конец, отчетность иметь надо... – уклончиво бормочет Ананий Северьяныч и опускает весла в воду. – Счастливой охоты, папаша!

– Езжай, чёртов сын, езжай... – беззлобно смеется дед Северьян, и отец с сыном разъезжаются.

Темный человек был старик. Кто он и откуда – никто толком не знал. Рассказывали, что совсем юным видели его с лямкой на плече – ходил в бурлаках. В село пришел парнем с

капиталом, женился, открыл трактир, купил пароход, каменный дом двухэтажный построил. Но – запил. Во хмелю буен был, драться любил, и однажды едва не забили его до смерти. Выжил. Запил пуще прежнего и в скором времени пропил все до нитки: и пароход, и трактир, и дом... Поселился вместе с детьми – жены уже не было – в маленьком деревянном домишке на краю села, на самом берегу Волги. Отрезвел быстро – пить бросил, в церковь стал ходить, но на ноги встать уже больше не мог. Перебивался так, кой-чем: рыбу ловил зимой, крючником на пристанях работал летом, плотничал...

Много пересудов ходило по селу про деда Северьяна. Непонятно было, как это человек из бурлака вдруг в богача превратился, а из богача легко и просто, в несколько лет – в нищего. Самым упорным слухом был слух о том, что согрешил дед в молодости, задушил какую-то богатую старуху в лодке – перевозил ее в Самаре через Волгу, – а потом забрала его совесть и – запил смертным поем. Но это были слухи, а в общем никто ничего толком не знал. Русская душа – потемки, разобраться в ней нелегко.

После революции семнадцатого года потаскали его немного по допросам как бывшего собственника, но дело-то было очень давнее, неуклюжее какое-то, недолговременное, и оставили его под конец в покое. Жил дед тихо, смиренно, никому зла не причинял. Знали односельчане, что дровишки он поворовывает, да как-то язык ни у кого не поворачивался донести на старика, и к тому же не один он этим грехом грешен был.

\* \* \*

Проданные две сажени дров дали Северьяну Михайловичу 46 рублей. Поздним вечером, прислушиваясь к завыванию крепкого низового ветра и шуму волн, дед сидел перед маленькой семилинейной лампой с разбитым стеклом и, открыв березовую шкатулочку, пересчитывал свой капитал. Всего было 1075 рублей 30 копеек.

Уютно стрекотал сверчок где-то под потолком, шуршали на русской печи тараканы. Пересчитав последний раз деньги, дед Северьян спрятал шкатулочку в горку, запер горку на ключ и, бесшумно ступая валенками по крашенному желтой масляной краской полу, вышел на крыльцо.

Вечер был темный, прохладный. Шумели листвой древние развесистые березы. Внизу, за плетнем, ревела Волга, мигали огоньки бакенов. Где-то далеко-далеко, за коленом реки, протяжно и тоскливо свистел буксирный пароход.

Постоял немного дед Северьян, посмотрел на небо, по которому стремительно неслись облака, точно огромные комья черных тряпок, зевнул, прислушался к шуму на реке.

– Стонет матушка, стонет родимая... Жалуется, – вслух проговорил старик и пошел в дом.

Помолившись Богу и заперев дверь на завертку, он сел на широкую кровать, покрытую ватным одеялом, снял валенки и только было пошел дунуть на лампу, как кто-то резко и громко постучал в маленькое окно.

– Несет кого-то нелегкая... – недовольно буркнул старик и, откинув крючок, толкнул раму.

Под окном стоял смуглый подросток лет 15–16. По-русски грубовато-красивый, немного курносый, немного широкоскулый, с карими глазами, смотревшими мягко и вдумчиво, белокурый, в синей выцветшей рубашке и в серых домотканых штанах, босой, он стоял, запрокинув голову и держась рукой за ствол тонкой березки.

– Ты что, Денис? – осведомился дед Северьян.

– Папаша прислал... Там из сельсовета пришли, и один городской с ними... И милиционер... Все папашу допрашивали... Теперь за тобой послали... Иди скорее! – быстро проговорил Денис, сверкая полосками зубов и шурясь на свет.

Дед Северьян выпрямился, изувеченная верхняя губа чуть дернулась, ощерилась, узловатая рука медленно приподнялась – заложил большой палец за крученный шнур пояса. В голубых по-старчески глазах сверкнули искорки настороженности.

– Об чем допрашивали отца?

– Не знаю... Нас-то всех выгнали с кухни в горницу... Дверь притворили, ничего не слышно...

Старик поднял другую руку и второй палец сунул за пояс; постоял, подумал.

– Ну ладно... ступай, Денис... Скажи – приду... Да притворь-ка раму покрепче с той стороны...

Опять тоскливо засвистел пароход. Металась Волга, выплевывая желтую пену на прибрежный гравий, лизала песчаные косы, раскачивала одинокие и жалкие в такую ночь бакена. Это была не красавица река, а измученная, истерзанная русская душа, бешеная в своем бессилии.

## VI

Тесный, покрытый темной дранкой дом Анания Северьяныча Бушуева стоял выше домика деда и уже входил в «порядок», то есть в улицу, шедшую по горе параллельно Волге. Дом этот выстроил Бушуев еще до революции, в ту пору, когда плывал лоцманом на пароходе «Государь» общества «Самолет». В 1924 году посадил он на камень теплоход «Октябрь», сумел как-то отвертеться от суда, был признан по глазам негодным к службе на Волге и ушел на берег бакенщиком.

Семью держал в строгости, но любил. К жене, Анисье Ульяновне, относился несколько свысока, но ценил в ней доброе сердце и привязанность к мужу; обижал редко, – разве уж когда бывал сильно не в духе. Запивал два раза в год: осенью и весной. Запой длился две недели, после чего Ананий Северьяныч шел в баню, парился с веником несколько часов кряду, до полного изнеможения, выгонял, как он говорил, «смутиана-диавола», надевал чистое белье и шел в церковь. В церкви он бывал тоже два раза в год – по числу запоев. Иногда бывал и три раза, если случался нежданный-негаданный зимний запой. В отличие от батюшки, который был драчлив и буен в молодости, Ананий Северьяныч во хмелю никогда не шумел и не скандалил; пел печальные песни, жаловался на горькую долю, благодарил Ульяновну за то, что она родила ему двух сыновей, плакал и просил у всех прощения неизвестно за что.

Сын Кирилл, двадцатипятилетний детина, был сумрачен и угрюм. Недалекий умом, он не закончил даже четырехклассную школу – исключили за неуспеваемость. Работал матросом, масленщиком на маленьком буксирном пароходе, но выше масленщика не пошел. Отслужив четыре года на военной службе во флоте, Кирилл вернулся домой, слонялся без дела и собирався жениться. Сын Денис только что кончил сельскую школу-семилетку и предполагал осенью поступить в речной техникум.

Допрос, учиненный Ананию Северьянычу, насмерть перепугал его. Он трясся всем телом, боялся, что знать ничего не знает, отвечал сбивчиво и путано. Одно утешало его, что разговор шел не о нем, а об отце, и обвинялся, собственно говоря, отец.

Дед Северьян, застегивая на ходу старый засаленный китель, не торопясь поднимался по тропинке к дому сына. Ветер трепал пепельную бороду, из-под надвинутого на лохматые брови старенького картуза он смотрел острым взглядом на освещенные окна дома. Обогнув палисадник, взошел на крыльцо – скрипнули ступеньки под тяжестью громадного тела – прошел длинные сени и, сняв картуз, толкнул обитую войлоком тяжелую дверь в кухню.

В просторной кухне было светло, горела под потолком, чуть покачиваясь, керосиновая лампа «молния». За большим столом сидело трое: председатель сельсовета Онучкин, следователь из города – прыщеватый молодой человек в больших очках и, несколько поодаль, сгорбившись, положив руки на колени – Ананий Северьяныч. Прислонившись к косяку двери в горницу, стоял молоденький веснушчатый милиционер.

Едва только дед Северьян переступил порог, следователь быстрым движением откинул назад длинные сальные волосы и негромко произнес:

– Ага, старик... Вот тебя-то мы и дожидаемся... Садись. Здравствуй.

Дед Северьян молча перевел взгляд на образа, перед которыми теплилась неугасимая синяя лампадка – очаг вечных забот и тревог богобоязненной старообрядки Ульяновны, – размашисто перекрестился и сел на табуретку возле шестка, держа картуз в руках.

– Здравствуйте. Зачем позвали? По какому случаю?..

Следователь подвинул к себе бумаги, посмотрел на них, постучал химическим карандашом по ногтям с черными краешками и, блеснув очками, коротко бросил:

– В слободу сегодня ездил?

– Ездил.

- У кого был?
- А вам кого надо? – усмехнувшись, спросил дед.
- Ты мне, старик, вопросов не задавай. Я тебя спрашиваю, а не ты меня. У кого, говорю, был? С кем виделся?
- А со многими виделся. Перво-наперво – С Аксюшкой-дурочкой, белье полоскала на лаве... это когда я только к берегу пристал... А потом вроде как и никого...
- Как никого? – вскипел следователь, – а дрова кому продал?
- Дед Северьян скосил глаза на сына. Ананий Северьяныч сгорбился еще ниже, бескровные губы дрогнули.
- Вы, папаша, это самое... стало быть с конца на конец... Не подумайте чего...
- Молчи. Тебя не спрашивают, – оборвал его следователь. – Так кому, говорю, дрова продал?
- Ахтырову, – громко ответил дед.
- Мустафе Алимичу?
- Нет. Брату ихнему, Алимичу Алимичу.
- А Мустафу Алимича видел?
- Видел.
- Где?
- Дед Северьян покрутил в руках картуз, наморщил брови.
- В саду видел. Спал он в малиннике. А по какому такому случаю я должен вам ответы представлять?
- Ты перед следственной комиссией, Северьян Михайлович, – сказал председатель сельсовета Онучкин, свертывая сигарку, – потому надо отвечать, коли спрашивают.
- Следователь сделал какие-то заметки в бумагах и снова приступил к допросу.
- Значит, Мустафу Алимича ты видел в саду?
- Видел. Разбудил я его. И Алимич по дельцу видел. Как же...
- Следователь досадливо отмахнулся.
- Да что мне Алимич! Ты про Мустафу расскажи. Значит, Мустафу ты видел по дельцу?
- По какому же это дельцу?
- Дед приподнял изувеченную губу, ощерился:
- Это ты непонятливый, а не я. Сто раз тебе повторять надо, что видел я Мустафу, а по делу с Алимичом разговаривал.
- Ты не кричи, – тихо посоветовал следователь, – а то я крикну... В каких ты отношениях был с Мустафой?
- Я с ним посеючас как бы в дружбе. Ну, в дружбе не в дружбе, а так... встречаемся, здоровкаемся...
- Следователь строго и внимательно посмотрел на деда.
- А ты что, старик, не знаешь, в чем дело?
- А чего?
- Следователь не спускал глаз с лица допрашиваемого.
- Зарубил кто-то топором сегодня в полдень Мустафу Алимича в этом самом малиннике...
- Старик не двинулся с места. Дернул губой. Перекрестился.
- Кто ж это его?..
- А вот то-то и оно, что «кто ж это его»...
- Замолчали. С рукомойника в углу капала вода, звонко шлепаясь в ведро с помоями.
- Расскажи-ка, Северьян Михайлович, – снова начал следователь, – все дело по порядку. Вот, значит, ты приехал, пристал к берегу... Дальше.
- Дед кашлянул.

– Ну, значит, приехал я, за собой плотик маленький привел, дровишки, значит... Которые мелкие были – в лодку положил. Дурочка Аксюшка белье полоскала, на камушке Гриша Банный сидел, над ей потешался.

– Кто это Гриша Банный?

– А у нас под горой живет, возле бани Колосовых, домишечко вроде курятника к бане этак приткнут... Не знаешь?

– Ладно. Дальше. Чего он в Татарскую слободу попал?

– А он в дружбе пребывает с Алимом Алимичем. Любит его татарин. Да его все любят, божий он человек...

– Ладно. Дальше.

– Гриша, говорю, посиди тут, посмотри, чтоб робятки ковшик из лодки не уворовали, а я, говорю, к Алиму Алимичу схожу. Согласился он. А чего не согласиться-то? все одно – с дурочкой зубья скалит. Подымаюсь в гору. Прихожу к Ахтыровым. Вход-то у них через сад идет... Отворяю калитку, иду. Смотрю: стол под кленом... на столе закуски, вино недопитое... и никого нет. Я в дом – заперт. Стою на тропинке. Что ж, думаю, делать? не назад же дрова везти. И вспомнил я тут, что братья частенько в хорошую погоду в малине спят... Иду туда. Смотрю – лежит который-то из них. Мустафа Алимич. «Ты чего?» – спрашивает. «А вот, говорю, дрова привез, что Алим Алимич заказал». – «Так ты, отвечает, и толкуй с ним». – «Так его нет». – «А ты поищи». – И опять завернулся в одеяло. Постоял я, постоял и пошел искать старшего братца. Только я выхожу на улицу, смотрю – идет, черный такой, нахмуренный, руки-то в карманы засунуты, винцом от него попахивает. «Ты что – ко мне заходил?» – спрашивает. «К тебе. Дрова привез, что просили». – «Почем хочешь?» Называю цену...

– Почем же ты ему продал? – перебил деда любопытный председатель сельсовета.

– Да недорого... по 23 рубля с сажени.

– А Васька Булатов нам нынче продал, – вдруг вмешался молчавший все время молодой милиционер, – так тот по двадцатке только взял.

Но следователя дрова не интересовали, и он поторопился вернуться к прежней теме:

– Ладно. Не в этом дело. Ну, дальше рассказывай. Значит – сторговались?

– Да торговли никакой и не было; я назвал цену, он сразу согласился. Пошли на берег дрова смотреть...

– А в дом не заходили?

– Нет... Тут сразу и на Волгу пошли. Посмотрел он дрова, расплатился. Подтащили мы их на приплеск, чтоб волной не снесло, на этом дело и покончили.

– А потом?

– А потом он вместе с Гришей в гору пошел, домой, стало быть...

– А ты?

– Я?

– Да, ты?

– Сел в лодку и поехал назад...

Следователь снял очки и потер глаза: видно было, что он намотался за день. Записал показания, подумал.

– Говорят, Северьян Михайлович, ты с покойником личные счета имел?

– Не припомню что-то.

– А ты попробуй... припомни. Я не тороплю.

Захрипели тяжелые стенные часы. Открылись резные дверки, и ярко-красная кукушка стала кланяться, опаздывая, не попадая в такт ударам. Все подняли головы и до последнего, двенадцатого, удара не спускали глаз с часов. Кукушка застыла, и резные дверки захлопнулись.

– Н-да... – протянул следователь, – забавные часы. Только красоты нет, соотношения боя, так сказать...

– Были раньше... отношения, как же – были, – поторопился объяснить Ананий Северьяныч, усиленно почесывая спину, – да Дениска, сын, стало быть с конца на конец, попортил.

Следователь сделал строгое лицо и повернулся снова к деду Северьяну.

– Вспомнил?

– Нет.

– Ну так я тебе напому: пять лет тому назад порубил ты ему завозню по неизвестным причинам. Завозня затонула, и кладь подмокла. Говорят, что это ты сделал.

– Я никакой завозни не рубил. Понапрасну он тогда на меня... – хмуро ответил дед Северьян, – к тому же встречались мы потом... и все по-хорошему... вроде как бы помирились...

– Скажи, старик, – перебил его следователь, – а не ходил ты еще раз в сад, после, как ушел Алим с Гришей?

– Нет, не ходил.

Следователь встал, потянулся, зевнул.

– На... подпиши вот эту бумагу, что никуда не уедешь из села.

– Я неграмотный.

– Тогда поставь крестик... Вот здесь. Видишь?

Дед Северьян встал во весь свой огромный рост, стукнулся головой о лампу, погладил ушибленное место и неуклюже, корявыми толстыми пальцами взял карандаш.

– Где?

– Вот здесь.

Запахивая пиджаки и стуча кожаными сапогами, гости направились к двери. Следователь выходил последним. Перешагнул порог и вдруг остановился. Повернулся, смерил взглядом деда Северьяна с головы до ног.

– А все-таки, старик, дельце это не без тебя обошлось... Вот только концов еще у меня нет. Найду – плохо тебе будет, старик.

И вышел, хлопнув дверью.

## VII

Татарская слобода стояла на левом берегу Волги, чуть пониже села Отважного. Отважинцы занимались, главным образом, работой на водном транспорте и отхожим промыслом, татары же – исключительно земледелием. Из Казани при Екатерине II бежали сюда несколько татарских семей и построились на месте нынешней слободы. Слобода быстро росла и ко времени коллективизации насчитывала 105 дворов. После коллективизации число дворов несколько уменьшилось, и к моменту назначения Алима Ахтырова на пост председателя колхоза было 85 дворов.

Алим Ахтыров был сильный и властный человек. Преданный делу, искренне желая помочь народу, он работал с утра до ночи. У него было много друзей и врагов. Брат же его, покойный Мустафа, служил приказчиком в слободском кооперативе и никаких особенных счетов ни с кем не имел. Зная его за доброго, в общем, малого, все были поражены его страшной смертью.

Дело сильно запуталось. Молодой следователь Макаров сбился совершенно с толку. Ни допрос Алима, ни его жены, ни Гриши Банного, ни деда Северьяна – ничего, в сущности, не дали.

Первым обнаружил убийство мальчик Степка, забравшийся в сад к Ахтыровым проведать, не поспела ли клубника. Раздвинув кусты, он заметил лежащего в тени на траве человека, укрытого легким одеялом. Одеяло, очевидно, служило спящему защитой от мух. Приглядевшись, мальчик увидел, что голова у человека как-то неестественно подогнута и, словно сургуч, красная. Так же подозрительной показалась ему и красная трава вокруг головы. Подойдя ближе, он понял, что это кровь, и, заплакав с испуга, бросился в дом Ахтыровых. В сенях он столкнулся с Алимом, – во всем доме находился только Алим. Манефа ушла на полдни доить корову. Гриша же Банный, после покупки Алимом дров у Северьяна Михайловича, прямо с берега пошел в пивную и просидел там до пяти часов вечера, распивая с сапожником Яликом жигулевское пиво. Алим, по словам мальчика Степки, как сумасшедший, бросился к месту преступления, едва только мальчик успел сказать ему несколько слов.

Удар был нанесен, очевидно, острием топора, сильно, со всего размаха, в висок, через край одеяла и голубую феску, сдвинутую на левое ухо. Смерть наступила мгновенно. Кровь смешалась с вытекшим желтовато-белым мозгом. Топор, должно быть, убийца унес с собой, и найти орудие смерти не удалось. Проверили кой у кого наличие топоров – все оказались на месте и без всяких признаков крови.

– Чёрт знает что! – вслух ругался следователь Макаров, идя на другой день с допроса Гриши Банного, – в чем же тут заковырка? Кто же это его кокнул?

На подозрении у следователя были пока что трое: Алим Ахтыров, Манефа и дед Северьян. В первую минуту он почему-то подумал, что Мустафу убили по сговору Алим и Манефа. Но этот первый вариант как-то сам по себе быстро отпал в начале следствия – уж очень нелепо было это предположение, ибо в отношениях мужа и жены он уловил что-то такое, что исключало какой-либо сговор. Тогда он стал ощупывать их поодиночке. Алим был сражен смертью брата. Он ходил, как лунатик, и твердил каждому встречному, что если убийца найдется, то он задушит его своими руками. Иногда, в бессильной ярости, он сжимал кулаки и блестел слезами в черных глазах. Манефа, придя с полдней в день убийства и узнав от собравшейся толпы возле ахтыровского дома страшную новость, молча села на траву, закрыла лицо руками, и через полчаса ее, окаменевшую, ничего не сознающую, Алим отвел в дом. Закрывшись на крючок, она долгое время никого не хотела видеть, и хотя заметно было, что ей трудно собраться с мыслями, она четко и ясно давала показания на следствии.

На поведение Алима и Манефы следователь не особенно обращал внимания, ибо тут могла быть и игра в деланое горе, но свидетельские показания ставили его в тупик: все в один голос заявляли, что Мустафа был любим и Алимом, и Манефой и что жил он с ними в большой дружбе.

Поняв, что ни у Алима, ни у Манефы не было никаких причин убивать Мустафу, Макаров решил копнуть тайну с другой стороны, более легкой: кто находился в доме в момент убийства? Оказалось: Алим, и на несколько минут в сад заходил дед Северьян. Допустив, что Алим в деле не замешан, следователь обратил внимание на деда Северьяна. У старика нашлись старые, хоть и слабые, счета с покойным Мустафой, а значит – и причины к преступлению. Доказательств же не находилось никаких.

В общем, дело было темное и путаное.

Пробившись, как рыба об лед, целую неделю, следователь стал было охладевать, но новый маленький факт дал совершенно обратный ход делу, приоткрыл, как ему казалось, занавес над тайной.

И он с новым пылом принялся за расследование.

Сапожник Ялик показал, что Гриша Банный, посидев с ним очень недолго, ушел куда-то и пропал около часа. Вернулся он чрезвычайно взволнованный, на вопросы Ялика отвечал невпопад, на лбу у него сверкала свежая ссадина...

И Макаров решил допросить еще раз Гришу Банного.

## VIII

На Троицу, с утра, вся семья Бушуевых рядилась в самое лучшее. Денис надел штаны из «чёртовой кожи» и клетчатую рубашку «ковбойку». Длинный и худой Кирилл облачился во флотскую форму, оставшуюся у него после демобилизации; широченные брюки-клеш болтались на его худых ногах, как паруса. От всей его нескладной фигуры, от приглаженных водой с сахаром черных волос и от маленького курносого носа веяло довольством и удалью.

– Смотри, Дениска, ежели что... ежели драча какая... карнахинские задируются будут, так чтоб всем вместе... так и ребятам своим скажи, – учил он меньшего брата, поминутно смахивая слезу с левого, чуть косящего, глаза.

Традиции умирали. Новые праздники с каждым годом все больше и больше вытесняли старые. Уже не все дома украшали ветки березок, и не бросали девки венки из ромашек в Волгу. Но все-таки неохотно и туго русский человек расставался с дорогими его сердцу и памяти веками установившимися обычаями. Старики праздновали Троицу потому, что это – Троица, великий праздник, молодежь – потому, что представлялся случай повеселиться, поухаживать за девушками. Как бы то ни было, но гулянье в Отважном на этот год выдалось большое и шумное.

Визжали по всему селу гармошки, хмельные парни, окруженные тучей подпрыгивающих от удовольствия мальчишек, ходили толпами по улице и горланили песни. Девушки, взявшись под ручки, в три-четыре ряда, прогуливались, не торопясь, пели негромко, как бы слушая самих себя. Были и парочки. Были и обязательные кружки танцующих возле гармониста, присевшего где-нибудь на бревнышках или на лавочке, были и чудачки, потешавшие всех (неизменно на русской гулянке), были и пьяные драки, жестокие, кровавые, с применением кольев и тростей. Вспоминались обиды за весь год, и со страшной, дикой и бессмысленной злобой люди сводили счеты в этот день...

Словом – праздник как праздник.

Часу в четвертом дня, в самый разгар гулянья, задиристый Кирилл Бушуев шептался с Мишкой Потаповым и Мотиком Чалкиным о том, что надо бы карнахинских парней проучить – уж больно у многих отважинских они поотбивали девушек. Мысль эта пришла Кириллу в голову не только потому, что он был сильно навеселе, а главное потому, что Настя Потапова, девушка, за которой Кирилл ухаживал и собирался жениться на ней, вдруг в этот день отказала ему в компании и, посмеиваясь, прогуливалась с карнахинским пареньком Генькой. Генька же, с видом крайне равнодушным, перебирал пуговицы гармошки и, казалось, очень мало обращал внимания на Настю, шедшую рядом с ним. Воздух накалялся.

Денис сидел с товарищами на лавочке возле колосовского дома, сочинял частушки, которые тут же, на лету подхватывались слушателями и разносились по всему селу. Манефа Ахтырова, приехавшая погостить по случаю праздника из Татарской слободы к матери в Отважное, смотрела из раскрытого окна на веселящуюся молодежь, положив полные красивые руки на подоконник. Яркие, как сурик, губы пухлого рта крепко сжаты, в серых прищуренных глазах – тоска и сумрачная русская хитреца.

Денису нравилась эта двадцатилетняя женщина. Он считал ее самой красивой женщиной на селе! Но и побаивался ее. Иногда он подолгу наблюдал, как она полощет на лаве белье, как поднимается с тяжелой корзиной на гору, твердо и уверенно ступая босыми ногами по скользкой тропинке. Ему часто хотелось подойти к ней и помочь нести корзину, украдкой прикоснуться к загорелой и гладкой руке повыше локтя, но серые глаза смотрели на него так холодно, так безразлично, что у него пропадало сразу всякое желание подойти хоть на шаг ближе к ней.

Совсем по-другому относился он к Манефиной сестре – тринадцатилетней Финочке. Эта тоненькая девочка с пушистыми косичками вокруг головы, с большими, такими же как

у сестры серыми, но добрыми и веселыми, глазами вызывала в нем радостное чувство и прилив какого-то особенного вдохновения. Когда он был у нее на виду, ему хотелось, чтобы она видела, как он ловко может плавать, грести, нырять на ходу с парохода, сочинять частушки и прибаутки. Он часами мог сидеть с ней и помогать готовить уроки и от души был рад, когда она была довольна и весела.

Финочка выглядывала из-за плеча Манефы, и Денису приятно было сознавать, что он центр внимания и что за всеми его словами и движениями следят веселые глазки Финочки. Девочка заливалась смехом и подзадоривала Дениса.

– Еще что-нибудь, Денис... ну еще сочини.

– Оставь ты его, Фаина, а то он тут до вечера чудить будет, – поморщилась Манефа.

– А ты, если не хочешь слушать, так отойди от окна, – посоветовала младшая сестра, – вот, Денис, сочини что-нибудь про Манефу!

Денис, больно задетый пренебрежением Манефы к его искусству, подумал, потрянул белокурой головой и нараспев проговорил:

Вдоль дорожки, сколько видно —  
Все несжаты полосы.  
Ой, когда-нибудь Манефу  
Отдерут за волосы...

Слушатели так и покатались со смеху. Финочка прыснула было, но тут же зажала рот рукой, увидев изменившееся в одну секунду лицо сестры. Манефа медленно привстала, в глазах ее сверкнули искорки злобы.

– Смотри, Дениска, как бы я тебя в Волге не утопила с камнем на шее... – тихо, с угрозой проговорила она и вдруг, схватив горшок с гортензией, стоявший на подоконнике, с силой швырнула его в сочинителя.

Денис ловко наклонился, горшок ударился о ствол старого тополя и вдребезги разбился. Хохот поднялся еще больший.

– Чёрт бушуевский... – сквозь зубы бросила Манефа и захлопнула окно.

В доме послышался плаксивый голос тетки Таисии Колосовой, матери сестер:

– Вот лошадь неумная! Гляди-ко, что наделала – цветок на волю выкинула! Ой, ведьма! Ой, ведьма!..

Денис стоял бледный, растерянный, тяжело дыша. Как это получилось? Зачем последние слова частушки слетели у него с языка? Ведь он не хотел так сильно обидеть Манефу. Совсем не хотел. Он хотел только подразнить ее немножечко, а не делать ей больно. Ах, как нехорошо получилось. Но додумать до конца происшествие ему не удалось: кто-то крикнул, что к Отважному пристаёт пароход, и с гиканьем вся ватага мальчиков понеслась на берег.

Волга была тихая, гладкая, словно политая маслом. Звонко шлепая по воде плицами, к пристани подходил маленький пароходик «Товарищ». Мальчики пробрались по шатким сходням на пристань и уселись на корме возле скрученных в бухту канатов. Отсюда им хорошо был виден и пароход, и пассажиры.

Приятель Дениса, черномазый и низкорослый Васька Годун, толкнул друга локтем:

– Смотри, Денька, москвичи опять приехали на дачу.

– Где?

– А вона на борту... в кормовом пролете стоят. Все как есть. И папаша в шляпе, и девки ихние...

Денис сразу же узнал знакомые лица. Архитектор Белецкий, тучный румяный мужчина, гладко побритый, в светлом костюме и серой шляпе, стоял возле самого борта. Поблескивая в улыбке золотым зубом, он что-то быстро говорил матросу, наклонившемуся, чтобы взять два

больших кожаных чемодана, стоявших у ног Анны Сергеевны – жены Белецкого, маленькой, аккуратно и просто одетой женщины. Две черненьких девушки, в одинаковых легких платьицах, оперлись на поручни и восторженно смотрели на берег.

Хрустнули кранцы, пароход пристал к дебаркадеру.

– Посторонись! – предупредил загорелый матрос, пробегая с чалкой по обносам парохода.

Белецкий заметил Дениса и приветливо крикнул:

– Здравствуй, Денис!

– Здравствуйте, Николай Иваныч! С приездом! – обрадованно ответил Денис. Он искренне и горячо привязался к Белецкому года два тому назад, и приезд на дачу Белецких для него всегда был настоящим праздником. Кроме удовольствия видеть самого архитектора, он предвкушал и другое: прекрасные книги, которые тот всегда привозил с собой.

– Как ваше бурлацкое степенство поживает? – шутил Белецкий. – Школу, наконец, изволили кончить?

– Кончил...

– А вырос-то как! Совсем молодой человек, – сказала приятным московским говорком Анна Сергеевна.

– Мама! Сходить уже начали! Пойдемте же! – торопила старшая дочь.

Белецкий махнул Денису рукой и смешался с толпой выходящих пассажиров. Денис подстерег семью архитектора на сходнях, помог им донести вещи до дачи, попрощался, обещав зайти на другой день, и, не торопясь, пошел навстречу песням и шумам, летевшим с «большой» улицы. Он шел и чувствовал какое-то беспокойство. Откуда оно? Ах, да! Это все тот горький осадок после истории с Манефой. Даже встреча с Белецкими не отвлекла его от этого неприятного воспоминания.

Он сел возле какого-то дома на бревнышки, поглядывая на разноцветную гудящую толпу. Неподалеку от него сидели Гриша Банный и учитель немецкого языка Квириг, и, как на зло, он опять слышал имя Манефы, которое упоминал по какому-то поводу Гриша Банный. Денис подвинулся к ним поближе и прислушался.

– Нет-с, Митрофан Вильгельмович, – вкрадчиво и мягко говорил Гриша Банный, – не по моим слабым способностям понять подобную женщину. Сфинкс, доложу я вам, русский сфинкс!

– Ну, если уж вы, русские, в своем народе разобраться не можете, если простая русская женщина для вас сфинкс, то как же могут понять иностранцы русских? Никогда или, может быть, очень долго они не разберутся ни в вашей природе, ни в вашей душе. Одно ясно, что вы, русские, сыграете какую-то огромную и ответственную роль в истории мира. Я не знаю, когда, в каком году и в каком веке это будет, но это будет, дорогой Григорий Григорьевич. Поверьте мне.

– Охотно верю-с, ибо я самого высокого мнения о своем народе, – согласился Гриша Банный.

– Я обрусевший немец, – продолжал Квириг, – я безвыездно живу в России с девятьсот пятого года, даже имя приобрел русское. Я наблюдаю вас давно. И я понял кое-что, но далеко не все. Вот, скажем, ваши праздники. Вы как-то странно веселитесь: пьянство, драки. Ведь я не запомню ни одного праздника в Отважном, чтобы кого-нибудь не убили или, в лучшем случае – не покалечили. Сегодня тоже кого-нибудь убьют.

– Вероятно, убьют... – подтвердил Гриша.

– Отчего это?

– Я полагаю, сил много в нашем народе... а девать эти силы некуда.

– В вас много еще дикарства, вы еще дикие...

– Дикие-с... – опять охотно согласился Гриша.

– Но вы страшно потенциальны. Ваши возможности и силы еще не вскрылись, они лежат еще под метровыми снегами. А снега у вас много. Что ни эпоха, то снег. И давит он вас, этот снег, и не дает он вам поднять голову... Но когда-нибудь растает!

– Растает, – кивнул головой Гриша, – снег, он, знаете, всегда тает – простой закон физики. Особенно он, знаете, огня и света боится. Чуть огоньку – и тает, тает... так на глазах и тает. Иногда, знаете, от пустяков тает. Вот вы, Митрофан Вильгельмович, никогда не пробовали посадить обыкновенную кошку на лед в погребе и продержат ее там некоторое экспериментальное время.

– Нет, знаете, не пробовал... – улыбнулся Квиринг и пожалел о растроченном красноречии.

– Забавно и поучительно, доложу я вам. Если вам не скучно меня слушать, то разрешите, дорогой Митрофан Вильгельмович, я вам расскажу об этой ситуации несколько подробнее...

Заинтересованный было в начале этим разговором, Денис теперь понял, что после предложения Гриши рассказать об опыте с кошкой и льдом разговор о Манефе больше никогда не возобновится; он встал и пошел к школе.

Возле большого двухэтажного здания школы, окруженный толпой зрителей, плясал под захлебывающуюся гармошку низкорослый и кривоногий Мотик Чалкин. Вздывая тучи пыли, он приседал, выбрасывал поочередно ноги, шелкал ладонями по подошвам сапог, кружился и задевал раскинутыми руками носы зрителей. Карнахинец Генька, с гармошкой под мышкой и сигаркой в зубах, стоял в первом ряду и обнимал Настю Потапову за талию. Он часто сплевывал через зубы и приговаривал:

– Здрóрово! Крепко режет! Ай да парень – карусель!

Расталкивая толпу, подошел к нему сзади Кирилл Бушуев и вдруг наотмашь ударил Геньку по лицу. От страшного удара Генька повалился на дорогу, выронил гармошку и сжал руками голову. Сквозь пальцы ручьем хлынула темная кровь из разбитого свинцовым кастетом уха.

– Ребята! Карнахинских бьют! – заорал кто-то изо всей мочи.

Маленький паренек в синей косоворотке подскочил к Кириллу и ткнул его кулаком в переносицу. Кирилл устоял, но второй удар, нанесенный ему сбоку здоровенным веснушчатым детиной, сбил его с ног. Паренек в синей косоворотке пнул Кирилла в живот каблуком, но тут же повалился сам под ударом доски, которую на ходу подхватил немедленно ввязавшийся в драку Мишка Потапов.

– Чичас я им, гадам, покажу! – обещал кривоногий Мотик Чалкин, выламывая из плетня здоровенный, больше его самого, кол.

Толпа шарахнулась в сторону. С визгом и криками побежали девушки, но отбежали недалеко, стали, сбились в кучку и с нескрываемым любопытством наблюдали драку.

Бой разгорался. И та и другая сторона быстро получала подкрепление. Клубок дерущихся все разрастался. Из месива тел неслись крики:

– Кирюшка! Свинчаткой его по башке! Свинчаткой...

– Бей отважинскую сволочь!

– Вот где мы с тобой, гад, встретились! На! Н-на!..

– Бурлацкое отродье! Не на тех нарвались! Это вам не с татарвой!..

– Мишка! Назад смотри! Назад! Колом вдарят!

– Эх, так твою растак! На!.. Съешь!

– Н-на!.. Н-на!.. Н-на!..

Увидев подбежавшего Дениса, Кирилл заорал истошным голосом:

– Денис! Не видишь, брата родного бьют!

Денис поднял кусок кирпича, зажал его в руке и бросил на паренька в синей косоворотке, но налетел носом на крепкий кулак и мгновенно покатился на траву, закрыв глаза от дикой

боли. Здоровенный карнахинец схватил Мотика Чалкина и, как котенка, бросил его через плетень в школьный огород. Мотик плюхнулся лицом в рыхлую грядку, но тут же вскочил и с залепленными землей глазами полез назад через плетень.

– Чичас я тебя, рыжий чёрт, на тот свет отправлю! – орал он на всю улицу. – Заказывай надгробную колесницу!

Но колесница рыжему вряд ли бы пригодилась. Уж если кому надо было заказывать подобный род транспорта, то, пожалуй, самому Мотику Чалкину. Через секунду тот же рыжий детина волочил по земле Мотика за ноги, стараясь выбрать места покаменистее. Голова Мотика подпрыгивала, как мячик. Описав с жертвой небольшой круг, метров в двадцать диаметром, рыжий детина покачал Мотика в воздухе и снова забросил в огород. Больше уже изобретатель надгробной колесницы не поднимался до самого конца сражения.

Прибежавший на шум Гриша Банный стоял за спиной какой-то древней старушки, сокрушенно качавшей головой, стучал от страха зубами и тихо удивлялся:

– Уж не оптический ли обман! Смертоубийство происходит на улице, среди бела дня... Гладиаторы! Смертоносные гладиаторы! Взятие Зимного дворца!

Силы были неравные; карнахинцы дрогнули и побежали к Волге, к лодкам. Отважинцы преследовали их, забрасывая камнями и кирпичами. Денис бежал впереди погони и норовил угодить камнем в своего врага – паренька в синей косоворотке. Один раз это ему удалось: камень попал в спину преследуемого, но последствия были ужасны.

Он упал и остался лежать недвижим. Денис подбежал к нему и хотел было для полного уничтожения дать врагу крепкого пинка, но паренек вдруг схватил его за ногу, швырнул наземь и заколотил каблуками по голове Дениса с такой быстротой, точно отплясывал камаринскую. Денис уже не думал о том, чтобы подняться, он старался только как-нибудь руками защитить голову от сыпавшегося на него града ударов. Насладившись мщением, паренек присоединился к своему арьергарду, оставив на окровавленной траве свою раздавленную и уничтоженную жертву.

Карнахинцы попрыгали в лодки и, работая веслами изо всех сил, поплыли восвояси. Отважинцы долго и победно шумели на берегу, обещая дать баню врагам на Ильин день с вооруженным вторжением в самое село Карнахино.

## IX

Денис с непомерно распухшим носом, с многочисленными синяками и ссадинами, с перевязанной рукой лежал в горнице на кушетке. Еле разлепляя опухшие синие веки, он виделдвигающуюся по комнате с причитаниями и оханьями Ульяновну и слышал стоны брата, лежавшего на кровати в кухне. Ананий Северьянович бегал от сына к сыну, усиленно чесал спину и торжествовал:

– Так вам, стало быть с конца на конец, и надо, стервецы! Надо б еще поздоровше отколотить вас, чтоб в другой раз не лезли в драчу... Ишь герои нашлись! Р-разинцы!.. Да вам, сукиным детям, головы поотрывать надо!

Потом подносил к лицам сыновей изорванную в клочья одежду и визжал:

– Это что такое? А?! Денег-то оно, это самое, стóбит аль нет? Как, по-вашему, зимогоры: стóбит? А? Говори! Отвечай! Молчите? То-то. Разве это одежда? Псу она теперь под хвост и то не годится... Пол бы вытереть, да пол жалко.

Швырял остатки былой роскоши в угол и уже тихо, но злобно предсказывал:

– Погодите, еще когда-нибудь забьют вас до смерти... Забьют, и очинно скоро, при таком вашем сучьем поведении...

– Да оставь ты их, Христа ради, – просила добрая Ульяновна, – на них и так сил нет смотреть от жалости... Того и гляди, Богу душу отдадут.

– И пушай, и пушай отдадут... – тряс бородкой Ананий Северьяныч, – не заплачем!

– Грех тебе, старик, говорить такие слова.

– Ничего не грех! – упрямылся Бушуев и вдруг с новой силой начинал кричать:

– А им не грех отцовское добро растрачивать?! Совесть у них, стало быть с конца на конец, у подлецов, есть али нет?!

– Я костюм с флота привез... – робко оправдывается Кирилл.

– С флота?! – подхватывает старик и бежит из горницы в кухню, – с флота, говоришь? А в чем ходишь по будням? В моем ходишь! Что ты делаешь? Чем деньги зарабатываешь? У-у, дармоед! Хоть бы на работу куда поступил, чёрт долговязый... Женись и отделяйся – вот мое последнее слово!

– Мамаша! – негромко зовет Денис. – Перемени тряпочку на лбу... опять горячая стала. Ананий Северьяныч спешит в горницу.

– Тряпочку захотел? А вожжей не хочешь? Я те дам тряпочку! Сопляк, шашнадцать лет, а туда же – в драчу лезет...

– Оставь ты его, оставь! – просит Ульяновна, забирая тряпку с головы Дениса.

– Да я в твои годы не знал, как и кулаком, стало быть с конца на конец, махнуть.

– Молчи уж! – вдруг переходит в контрнаступление жена. – А на Петров день, помнишь, как тебя отделали в Спасском? Забыл небось...

Ананий Северьянович, не ожидавший удара с фланга, стушевывается и растерянно бурчит:

– Так это когда ж было? Все ты путаешь, старая дура... Я уж того, женатый, чать, был...

– Парнем ты ходил, а не женатым был, вот что... Годов, чай, осьмнадцать было, не боле...

– А ну вас к лешему! – машет рукой Ананий Северьяныч и бежит в сени, но тут же возвращается, просовывает в дверь голову и замечает:

– Путаешь ты, дура, путаешь... Двадцать первый мне тогда шел...

К вечеру пришел дед Северьян. Постоял возле Кирилла, помолчал, прошел в горницу и тяжело сел в ногах у Дениса. Голубые глаза блестели смехом.

– Лежишь, бурлак?

– Лежу.

– Крепко отходили?

– Ага..

Дед погладил пепельную бороду, сунул ус в рот, пожевал.

– Ты головой умеешь бить?

– Нет... – вздохнул Денис и подумал о том, какой он несчастный, даже дед и тот пришел его мучить. Подумал и отвернулся к стене.

– А ты научись, дуралей. Когда одолевают в драче и под рукой ничего тяжелого нет, тогда это лучший манер – головой.

– Да я упал, а он тут на меня и навалился! – не выдержал Денис, снова поворачиваясь к деду.

– А падать, бурлак, не надо... Это хуже всего. На ногах надо крепко стоять... Болит рожа?

– Болит... болит, дедушка, – вздохнул Денис, услышав знакомые теплые нотки в голосе и словах старика.

– Ничего, подживет... А девки, брат, на тебя теперь не заглядятся. Девки, они красоту не такую любят.

– Ах, оставь меня, дедушка! – обиделся Денис.

– Ну, лежи, лежи... – примирительно сказал дед Северьян вставая. – А рожу ты, бурлак, береги... Она у тебя, рожа-то, от Бога. А что Богом дадено – беречь надо...

Скрипя половицами, он тяжело зашагал в кухню.

– Мамаша! – позвал Денис.

– Чего тебе?

– Мамаша, дай-ка мне на минутку зеркало...

## Х

Архитектор Белецкий каждое лето отдыхал со своей семьей в Отважном на собственной даче. Зимой Белецкие почти никогда не приезжали в Отважное, и в качестве сторожа оставался на даче учитель Митрофан Вильгельмович Квириг. На лето он снова переезжал в свою маленькую и неудобную комнатку в здании школы.

Белецкие любили Волгу, а для дочерей, Жени и Вари, переезд в Отважное из наскучившей за зиму Москвы был настоящим праздником.

Небольшая деревянная дача с открытой верандой стояла на обрыве, на самом берегу Волги, утопая в кустах жасмина и сирени. Ее яркая красная крыша была далеко видна с реки.

Спустя неделю после приезда Белецкий и Анна Сергеевна сидели на веранде, пили чай, наслаждались теплым вечером, красным закатом и земляникой. Огромное раскаленное солнце падало в Заволжье, прямо на острые пики темной полосы елового леса, окрашивая в фиолетово-красный цвет небо и реку. На высоких березах шумели грачи, готовясь ко сну. По улице, вздымая клубы горячей пыли, брело стадо коров, и пастух Архипыч волочил за собой длинный пеньковый кнут.

– Домой, родименькие, домой... Погуляли, погрелись на солнышке, а теперь домой... – подгонял он стадо.

Белецкий блаженно допил последнюю чашку чая, откинулся в плетеном кресле и закурил папиросу.

– Боже, Аня, как хорошо! Как хорошо! Знаешь, давай нынче и сентябрь здесь проживем.

– Ах, оставь, пожалуйста, глупости, – улыбнулась Анна Сергеевна, – ведь это только одни слова, а вот погоди, наступит август, и ты запросишься в Москву. Знаю я...

– Уверю тебя, что в этом году я хочу подольше здесь пробыть.

– А я уверю тебя, что это одни слова. Сначала будешь ныть, что погода испортилась и рыба перестала ловиться, потом вспомнишь о проекте «Дворца пионеров», конца которому, кажется, никогда не будет... и так далее, и так далее.

– Ну нет! К чёрту все дворцы на свете! Будем отдыхать и наслаждаться Волгой. Кстати, Аня, возьми опять прислугу, а то из твоего отдыха ничего не выйдет: эти бесконечные приготовления чаев, обедов, уборки комнат...

– Нет, в этом году я никого не собираюсь нанимать.

– Почему?

– Потому что – стыдно. Две взрослые дочери и вдруг – прислугу им еще. Ну, я понимаю – в Москве, там другое дело, там у них школа, занятия музыкой, а здесь бесконечный праздник. Пусть поучатся и женскому делу.

– Ну это, впрочем, твое дело. Как знаешь... Денис! – закричал вдруг Белецкий, увидев мелькнувшую за низеньким забором белокурую голову, – а ну-ка, иди сюда, братец, я тебе сейчас пропишу...

Денис хотел было дать стрекача, но сообразил, что теперь уже поздно, открыл калитку и боком, нерешительно подошел к веранде.

– Проходи, проходи... Садись и рассказывай, – приказал Белецкий, – почему ты до сих пор к нам не появлялся? Постой-ка! Повернись! Гм... Что это у тебя, братец, за египетские иероглифы на физиономии?

Денис покраснел, не зная, что ответить.

– Так...

– Как это – «так»? Это не ответ. Подрался, что ли?

– Ага.

– С кем же?

– А на Троицу, возле школы... с карнахинскими.

– Ах, так и ты в сем Аустерлицком сражении участвовал? – засмеялся Белецкий, сверкая золотым зубом. Улыбнулась и Анна Сергеевна. – Слышал я про это, слышал. Кому еще попало?

– Многим.

– Хочешь чаю, Денис? – предложила Анна Сергеевна.

– Нет, спасибо.

– Почему же?

– Мне идти надо за паклей для дедушки.

– Успеешь. Выпей чашку... На, держи.

Денис осторожно вылил чай в блюдце, долго дул на ароматную темную жидкость и двумя руками поднес блюдце ко рту.

– Читаешь? – спросил Белецкий.

– Читаю.

Стихи пишешь?

– Пишу... иногда.

– Пиши больше, Денис.

Белецкий любил Дениса и считал его способным человеком. Однажды, на рыбной ловле, он услышал от Дениса стихи собственного сочинения, которые очень заинтересовали его. Стихи были еще слабые, ученические, но Белецкий, любивший и понимавший литературу, уловил в них «нечто», что заставило его присмотреться к Денису внимательнее и даже изречь, что «в бурлачонке есть искра Божия». С этого дня он надавал Денису кучу книг и строго следил за тем, чтобы все они были прочитаны.

Солнце совсем скрылось за лесом, и от реки потянуло свежим ветерком. Полоснули потемневшее небо стремительные чирки. Над водой заплывал белесый туман. Вприпрыжку, заливаясь смехом и размахивая полотенцами, прибежали с Волги Женя и Варя. Поздоровались с Денисом, наскоро чмокнули губами лбы родителей, продрогшие сели за стол и, обжигаясь, принялись пить горячий чай.

– Накупались до полусмерти! – качала головой Анна Сергеевна. – Ну разве так можно? Губы синие, носы синие, вместо рук – какие-то гусиные лапы...

– И ничего мы, мамочка, не замерзли... просто так, – отвечала младшая дочь Варя, стуча зубами по краю чашки. Худенькая, веснушчатая, с прямыми длинными ресницами вокруг влажных, по-детски синих глаз, она казалась моложе своих четырнадцати лет.

Старшая, Женя, была совсем взрослой девушкой с огромной черной косой и полной красивой грудью. Она в этом году кончила девятый класс и собиралась поступить в Московский университет на биохимический факультет.

– Вот простудитесь, тогда возись с вами, – ворчала мать.

– Да, новости! – вспомнила вдруг Женя. – Мустафу Ахтырова зарубили недавно топором. Нам Финочка Колосова сказала...

– Кто это Мустафа Ахтыров? – морща лоб, спросил Белецкий.

– А помнишь, папочка, мы ездили с тобой в прошлом году в Татарскую слободу и заходили в кооператив купить ниток для мамы. Так вот этот приказчик, черный такой... в феске. Помнишь? – залпом выпалила Варя, боясь, что не она первая, а Женя напомнит родителям, кто такой Мустафа Ахтыров.

– А-а-а... помню. Как же, очень хорошо помню... Кто же его убил и за что?

– Неизвестно. Следствие еще не закончено, – ответила Женя, облизывая ложку с вареньем.

Денис заерзал на стуле, встал, комкая в руках серую кепку. Ему неприятно было слышать разговор об убийстве.

– Спасибо. Мне идти надо.

– Что так скоро? – удивленно спросил Белецкий. – Нет, ты еще посиди маленько. Я хочу у тебя кое-что спросить. Какие ты, например, книжки за зиму прочитал?

Денис сразу оживился и даже снова сел.

– Много.

– Перечисли.

– Так... значит, «Домби и сын», потом – «Я люблю».

– Стой! – оборвал его Белецкий. – А кто автор «Домби и сына»?

Денис задумался.

– Нет, не помню, – решил он наконец.

– А я знаю! – подхватила Варя. – Это Чарльза Диккенса.

– Правильно! – одобрил отец. – Дальше! Какую вторую ты назвал? Только когда говоришь название книги, то всегда говори и фамилию автора... Так как там?

– «Я люблю». Кажется, этого... как его... Авдеенко.

Белецкий поджал губы.

– Не знаю. Не читал. Вы, девочки, читали?

– Я читала, – кивнула головой Женя, – странная вещь. Как будто бы и ничего написана, и язык хороший, и образы запоминаются, но чего-то не хватает.

– Он что – современник? – спросил Белецкий.

– Да, конечно. Бывший беспризорник, между прочим.

Денис жадно прислушивался к разговору дочери с отцом. Кое-что ему было непонятно, а спросить он постеснялся. Что такое, например, «образы»? И решил, что спросит у Белецкого наедине.

– Хорошо, дальше. Что еще ты читал?

Денис стал перечислять длинный ряд книг, прочитанных им за зиму. Тут были: Майн Рид, Гюго, Бунин, Катаев, Шолохов, Киплинг, Есенин, Маяковский...

– Скажи, Денис, а кто тебе больше понравился, Есенин или Маяковский?

– Есенин.

– Почему?

– У Есенина все красиво... понятно, а Маяковский... он совсем непонятный, рубит как-то... а что к чему – не разберешь.

– Ну, ты еще не дорос, очевидно, до Маяковского. Маяковский – большой, очень большой поэт. Запомни это. Вот ты подрастешь, научишься понимать его и тогда согласишься со мной.

– А мне, папа, он тоже не нравится, – заметила Женя.

– Значит, и ты ничего не понимаешь.

– А мне он просто чужд и неприятен, – вставила Анна Сергеевна.

– Неприятен? – оживился Белецкий, поворачиваясь к жене. – Чем же он неприятен?

– Ты сам великолепно знаешь чем. Ну хотя бы вот этой строчкой: «Делайте жизнь с Феликса Дзержинского...» Нашел тоже пример, с кого делать жизнь. Назвал бы, скажем, Ломоносова, Менделеева, Эдиссона, Пржевальского, а то... заплечного мастера.

– Все это довольно сильно и убедительно, – согласился Белецкий, – пример, конечно, убийственный. Но видишь ли, Аня, в чем дело. Позволь я тебе изложу свою точку зрения на Маяковского. Ты затронула самую больную сторону творчества поэта – идейную; о ней мы и будем говорить, она-то и есть самое уязвимое место, ибо спорить о Маяковском как о поэте-мастере, я думаю, нам нечего. Можно признавать или не признавать формальную сторону его творчества, но отрицать, что он мастер, – нельзя. Прежде всего, позволь задать тебе вопрос: что послужило, по-твоему, мотивом к самоубийству?

– Неудачная любовь! – ответила за мать Женя.

– Очевидно, так, – подтвердила Анна Сергеевна.

– Да? – улыбнулся Белецкий. – «Любовная лодка?». Нет, дорогие мои, не это. То есть, конечно, с одной стороны и это, но мне кажется, что есть и другая причина, более сложная и глубокая. Маяковский был, прежде всего, человек искренний и прямой...

– Что? – удивилась Анна Сергеевна.

– Да, Аня, искренний. Очень искренний. И в этом-то вся суть дела. Ведь в каждой строчке, в каждом его слове сквозит искренняя большая вера в глубокий смысл того, что происходит в нашей стране.

– Ах, ты имеешь это в виду. Не спорю, – согласилась Анна Сергеевна.

– А вот представь: постепенно эта вера начинает угасать. Поэт побывал за границей, сравнил кой-что. Он ждет, а воз ни с места. Только слова, слова и слова... И самое страшное состоит в том, что он – один из самых активных ораторов. И происходит чудовищное прозрение. Оказывается, что мельница, на которую он годами лил воду, сомнет не только его, но и миллионы других, тех, кого он так пылко звал за собой в своих произведениях... Теперь скажи, этого кризиса мало, чтобы в один прекрасный день покончить с собой?

Все молчали. Молчал и Денис, увлеченный горячей речью архитектора.

Он далеко не все понял из сказанного Белецким, но где-то в душе бессознательно уловил смысл его слов, и ему стало жаль погибшего поэта.

И еще уловил он, что разговор шел не только о Маяковском, а о чем-то гораздо большем и важном!..

Сумерки сгущались. Печально курлыкнув, пролетела одинокая чайка. По Волге тихо плыла лодка, отчетливо слышались в тишине всплески весел. Это ехал Ананий Северьяныч зажигать бакена. Белецкий долго следил за ним, попыхивая папироской.

– Не отец ли едет?

– Отец, – ответил Денис.

– А как твои комсомольские дела?

Денис вздохнул.

– Выгнали меня из комсомола.

– За что? – в одно слово спросили все члены семьи.

– А вот за драку... На Троицу.

Белецкий улыбнулся.

– Это, брат, плохо. Это тебе может сильно помешать в дальнейшем пробивать дорогу в жизнь. Постарайся искупить свою вину и поступи снова...

– Не одного меня выгнали, а и Мотику Чалкина и Мишку Сутырина. Ваське Годуну предупреждение сделали.

– А почему же вас без предупреждения выгнали?

– Нам еще весной секретарь ячейки предупреждение сделал.

– За что же?

– Мотику и Мишке за то, что из погреба Онучкина ведро со сметаной сперли...

– Не «сперли», а «украли», – поправил Белецкий.

– Ну, украли.

– И без «ну», пожалуйста. А ты за что выговор получил?

– А за это... как ее... за другую драку.

Все дружно рассмеялись.

– Опять за драку? – нахмурился Белецкий.

– В школе еще. Перед зачетами. Так, чепуха. С одним татаринцом подрался. Вот через это мне предупреждение и сделали.

– Не «через это», а «за это», – солидно поправила Варя, подражая отцу.

Денис мельком взглянул на нее и замолчал. Белецкий встал, прошел в комнату и через минуту вернулся, держа в руках толстого роскошного Шиллера. Протянул книгу Денису.

– Читал?

– Нет.

– Тогда бери. Это я для тебя привез. Только чур не замарай, не порви.

– Нет, что вы!

Денис наскоро попрощался, нахлобучил на растрепанные волосы кепку и, держа книгу, словно икону, бросился бегом к калитке сада.

– Ой, парень, ой, парень... – покачал головой Белецкий.

– А красивый будет молодец, – предсказала Женя.

– Ну конечно, что-что, а это ты заметишь, – пошутила мать.

– Мама, я спать хочу... я так устала. И читать не буду, прямо в постель... – сообщила Варя и громко зевнула.

Над Татарской слободой взошла желтая луна и заполоскалась в посветлевшей Волге. Вспыхивали огоньки бакенов. На приплеске уютно кричали кулички. Запахло свежестью и клейкими листочками тополей.

Наступила ночь.

## XI

Как ни любил Денис общество Белецких, но больше всего любил быть вместе с дедом Северьяном. У Белецких, несмотря на теплоту и ласку, которой старалась окружить его семья архитектора, он чувствовал себя стесненно, неуклюже, может быть, именно оттого, что *старались* окружить лаской, с дедом же Северьяном было легко, интересно и, главное, свободно, хоть старик и не особенно-то баловал внука, а временами обходился и сурово.

Когда Денису было шесть лет, дед стал учить его плавать, по-своему, круто. Он брал внука на лодку, отъезжал сажени три от берега и швырял его, как котенка, в воду. Денис таращил от испуга глаза и беспомощно тыкал во все стороны руками и ногами, но как только он начинал пускать пузыри и идти на дно, дед подхватывал его на воздух, давал некоторое время отдышаться и снова швырял. Муча эта продолжалась недолго: через два дня Денис улепетывал от старика по воде к берегу, поднимая снопы брызг. Дед тихо ехал за ним и ухмылялся. А через два года маленький белоголовый мальчишка забирался на корму парохода, и когда пароход отходил от пристани, мальчик на ходу прыгал вниз головой в воду, к удивлению и ужасу пассажиров.

Зимой дед любил брать с собой внука в баню. Парился дед долго, часа по два, и жестоко. Лил на каменку воду, нагонял горячего пару столько, что в бане делалось темно, залезал на полок и хлестал себя березовым веником до тех пор, пока на венике не только листьев, а и веточек не оставалось, и красный, как рак, но довольный, выходил голый на снег, чтоб немного «охладиться». Денис, подражая деду, захотел тоже выйти голым на снег. Дед сейчас же согласился на просьбу внука, но предложил ему предварительно проделать то же, что проделывал и он, то есть залезть на полок и попариться. Денис залез на скользкий мокрый полок и чуть не задохнулся, глотая горячий, как огонь, пар. Дед же взял веник и долго хлестал им внука. «Теперь ступай», – сказал он, когда тело мальчика покраснело. Денис спрыгнул с полка и пулей вылетел на снег, ибо почти терял сознание от жары.

К его удивлению, снег казался теплым и мягким, как вата, и было совсем не холодно. Он стоял и смотрел, как быстро таял под его ногами снег.

Дед же, выйдя за ним, взял его под мышку и два раза окунул в сугроб к великому удовольствию Дениса. С тех пор Денис всегда зимой, моясь в бане, выбегал на снег и, приходя домой, замечал, что тело после этого делалось упругим и легким.

Когда он однажды рассказал Белецким о том, как он парится зимой в бане, то Анна Сергеевна пришла в ужас и негодование. Девочки смеялись, а сам архитектор строго заявил ему, что когда-нибудь он заболит после этого и умрет. Денис передал его слова деду. Дед весело сказал: «В тебе, Дениска, кровь-то, чать, моя, бурлацкая, а не ихняя, рыба. Оно, конечно, городской какой после этого и окочурится, а мы – нет... Мы не только тела, а и дух пропадут любим».

Проходя как-то мимо погреба Анания Северьяныча, дед заметил Дениса под кустом бузины с книгой в руках. Дед подошел, кашлянул.

– Все читаешь?

– Читаю.

– Про что ж там пишут?

– Это Шиллер, – ответил Денис, не поднимая головы от книги.

Дед кивнул головой и заложил пальцы за крученный шнур. Подумал и опять кашлянул.

– Гм... Про что, говорю, к примеру, пишут?

– А про всякое... Есть и про разбойников.

– Про разбойников. А про наше житье-бытье ничего там... не подмечено?

– Эта книга немецкая, дедушка.

– А-а... так-так... немецкая, значит. Ну, им, конечно, до нас делов нет. Им что? Своя сторонашка, значит, ближе, – заключил дед Северьян и тяжело опустился на траву возле Дениса. – А разбойников у нас и своих на Руси хватает. И ночных, и дневных. Там какие больше водятся: ночные или дневные? Вот у нас на Волге в старину был такой разбойник, Стенькой Разиным прозывался. Сорвиголова. Из казаков был. В Жигулях один водолив давно – я еще парнем был – показывал мне место возле села Моркваша, и будто на том самом месте Стенька клад большой зарыл.

Денис закрыл книгу, посмотрел на деда и серьезно спросил:

– А вы не покопали там?

– Да нет, так только... поговорили. Уставшие были, цельный день лямку тянули. Поговорили, каши поели да и спать полегли.

– А что, дедушка, жизнь теперешняя хуже или лучше прежней?

Дед Северьян ответил не сразу.

– Для кого, значит, хуже, а для кого – лучше. Для князьев да для помещиков – хуже, а для нас... для нас, брат... тоже хуже. Потому, вишь ты, свободы человеку маловато теперь-то, податься некуда.

– Как нет свободы? – удивился Денис. – Вот теперь-то и есть настоящая свобода. Раньше все на богачей работали, а теперь на себя.

– На себя ли, Дениска, на себя ли? Вот, к примеру, возьмем меня. Ходил в бурлаках. Правда, тяжеленько было: от Астрахани до Рыбинского ну-ка пройди пёшечком, да с лямкой на плече – небо в овчинку покажется. На хозяина работали – что правда, то правда. Хозяин, Илья Ефимыч Калачев, царствие ему небесное, ничего был человек, тихий такой, незлобивый, голосок тоненький. Не крикнет, а как бы просит: «Вы бы, робятушки, хоть до Камышина б сегодня довели, а там заночуем, робятушки». Так говорил... А приказчик у его, тот сразу по роже – тресь! Тот говорил мало, больше – руками. Только не долго он был. Как-то подвыпили бурлачки, привязали ему камушек на шею да в Волгу его возле Жигулей и бросили, приказчика-то этого... Н-да, тянули, работали. Да не в том, брат Дениска, жись была. Жись была от того, что каждый бурлачок мыслишку в голове держал. А мыслишка была такая: как бы самому хозяином стать, да приказчика нанять, да дом хороший купить. Дескать, лет десять-пятнадцать в бурлаках похожу, деньжонок скоплю и сам богатым буду...

– Да зачем же богатым-то быть? – перебил его Денис. – Кто-то на тебя работать будет, а ты, ручки сложа, сидеть будешь.

– Как зачем богатым быть? – удивился в свою очередь дед Северьян. – Чтоб жись, значит, лучше была, чтоб достаток, значит, в доме был, а не бедность. И богатый сложа ручки не сидит, брат; у него работы ой-е-ей! И туда надо, и сюда надо.

– Ты ведь тоже богатым был? – спросил Денис, вспомнив рассказы матери и отца про деда.

Дед Северьян ухмыльнулся.

– Богатым не богатым, а буксирный пароходик был у меня, «Эльбой» назывался. И трактир свой держал...

– Как же ты разбогател? Деньги скопил в бурлаках?

Дед немного нахмурился и неохотно ответил:

– Нет... я другой дорогой... Барынька одна меня пригрела...

– Как пригрела?

– Ну, так – пригрела и пригрела... – сердито ответил дед... – полюбила, значит.

– И деньги дала?

– И деньги дала.

– А ты и взял?

– А ну ты к лешему! – совсем рассердился дед, махнул рукой и отвернулся.

Денис поерзал по траве и хитро прищурился.

– Ну, положим, это ты так разбогател. А были бурлаки, что не так... сразу, а вот, как ты рассказывал – деньги копили?

– А как же! – оживился дед, поворачиваясь.

– Еще сколько было! Семен Денисыч Тарелкин мельницы имел, Кашины – братья, Комаров... Да мало ли их эдаких было. А другие через них тоже богатели. Люди хорошие были, ну и помогали другим.

– Как через них богатели?

– А вот хоть бы через Комарова, Ивана Кузьмича, Рыжов в люди вышел. Рыжов-то лет двадцать у него в приказчиках ходил. Сидят они раз в трактире в Саратове: сам Комаров, Рыжов да два купца из Нижнего. Комаров, значит, с купцами дельце хорошее провернул, задаток большой получил. Все подвыпившие сидели. Комаров, значит, приказчику своему и говорит: «Ну, Мишка, долго ты еще в приказчиках ходить будешь? Пора бы уже свое дело начинать». – «Да как начинать-то, Иван Кузьмич, – говорит Рыжов, – деньжонок еще маловато». – «Сколько ж есть у тебя капитала?» – спрашивает Комаров. «Да тыщонки три, не боле». – «А на примете есть что?» – «Есть, – отвечает Рыжов, – да не под силушку. Пароходик один винтовой присмотрел, „Енисей“. Продавать его собирается Сидоркин». – «Сколько ж просит?» – спрашивает опять Комаров. «Много. Пятнадцать тысяч». Комаров подумал, губами пошевелил, потом вдруг говорит: «Ну вот что, Мишка: даю я тебе двенадцать тысяч, а три у тебя есть. Покупай пароход и – с Богом, начинай работать, начинай дело свое» – и – бах ему на стол двенадцать тысяч. Рыжов побледнел, руки затряслись. «А как же, – говорит, – Иван Кузьмич... а как же, ежели я прогорю?» – «Ничего, не прогоришь. Парень ты с головой. А ежели прогоришь – значит, так Богу угодно, значит, пропадут мои деньги, взыскивать не буду. Ну а ежели на ноги встанешь – потом отдашь. Лет хоть через пять, через десять...»

– Ну, что ж он – прогорел? – спросил заинтересованный Денис.

– Ни-ни. Парень ловкий был. Дело колесом завертелось. Через три года долг своему благодетелю вернул, и пошел, и пошел... Четыре буксирных парохода завел! Пассажирскую линию держал от Нижнего до Рыбинского. Сам в Нижнем жил, домище отгрохал такой, что всем на удивление. А Комаров-то тем временем разорился, вдрызг разорился. Сначала караван – четыре баржи с нефтью сгорели. Потом с солью баржу потопил. И пошел на низ. В долги залез. И – с молотка пустили его. Одно плохо: пришел он к Рыжову, к своему-то бывшему приказчику, стоит в передней, одет плохонько, приема дожидается. Прислуга пошла доложить. Приходит и говорит, что Рыжов, дескать, принять его сейчас не может, что занятый он чересчур, что, дескать, – завтра. На завтра опять не принял. Походил с недельку Комаров к нему да и бросил. Так и не принял его Рыжов, так и не помог своему бывшему благодетелю. А Комаров вскорости помер. Вот какие дела бывали, Дениска... – скорбно заключил дед Северьян.

Денис долго сидел молча и вдруг спросил.

– А как же ты разорился?

– Я?

– Да.

– Пропил все... – коротко ответил дед.

Денис посмотрел на него с сожалением. Не потому, что ему жалко было дедовского богатства, а потому, что дед так нелепо расстался с ним.

– Так бывает... – ответил дед, вставая... – бывает, Дениска, у нашего брата это. Вожжа под хвост попадет – и конец.

– Нет, не хочу я быть богатым, – заключил Денис, тряхнув головой, – стыдно как-то быть богатым.

– А кем же ты хочешь быть?

– Не знаю... Лоцманом бы хорошо... Или вот книги... книги я люблю.

– Книжки, Денис, – книжками, а от Волги, брат, отрываться не надо. Это – кровь наша и плоть наша, – сурово сказал дед Северьян, – лоцманского в тебе больше. Стезю свою человек соблюдать должен.

С крыльца сбежал Ананий Северьяныч, остановился, почесал спину.

– Дениска! Ты долго тут прохлаждаться будешь? А кто за смолой поедет в слободу? Смолить лодку-то будем аль нет? Забирай весла и поезжай сиим моментом...

– Ох, я и забыл! – спохватился Денис и пошел в дом отнести книгу.

Ананий Северьяныч посмотрел ему вслед и покосился на деда.

– Вы, папаша, стало быть с конца на конец, сами в раздумье ходите и внука к безделью приучаете.

– Не указуй мне, Ананий, не указуй... – тихо попросил дед Северьян и отвернулся от сына.

Ананий Северьяныч постоял, подумал, достал из-под рундука ящик с инструментом и заковылял к погребу починять крышу.

## XII

Гриша Банный, пропадавший где-то со второго дня праздника, снова вернулся в Отважное. Узнав об этом, следователь Макаров решил немедленно допросить его еще раз. Он проверил показания сапожника Ялика: действительно, из пивной Гриша отлучался как раз в часы убийства, и, таким образом, его алиби оставалось темным пятном в деле. Макаров редко вызывал подсудимых к себе, он любил посещать их на дому, чтобы входить непосредственно в круг их обстановки, интересов и знакомств.

Моросил дождь. Поскальзываясь на морской глине тропинки, шедшей с горы к колосовской бане, Макаров судорожно хватался за портфель, боясь, что уронит его в грязь. Старая, прогнившая и покрытая зеленым мхом бревенчатая баня тонула в кустах густой бузины. Из досок крыши, почерневших и проломленных в нескольких местах, торчала осока. В пятидесяти шагах от бани тихо шелестела прибрежным гравием сумрачная Волга. По мутному оконцу бегали черные мокрицы. На покосившейся некрашеной двери висел тяжелый замок – баню топили только по субботам.

Словно уродливый гриб, прилип к ее восточной стене куток, в котором жил Гриша Банный. Куток этот был сооружен из самого разнообразного материала: из досок, бревнышек, кирпичей, камней, кровельного железа...

Макаров толкнул шаткую дверцу и попал прямо в каморку, потрясенный ударившим в нос запахом прели, сырости и тухлой рыбы.

Гриша сидел на полу, окруженный фиолетовыми трупиками рыб, и огромным косарем отрубал им головы... Тараканы, тихо наблюдавшие со стен сию немудреную экзекуцию, при входе Макарова шарахнулись в свои убежища, сталкивая второпях друг на друга на пол. Гриша, держа за хвост леща средней величины, занес было косарь, чтобы свершить очередную казнь, но, заметив носки хромовых сапог, появившихся в поле его зрения, вскочил, испуганно вращая белесыми глазами.

– Чем это вы занимаетесь? – спросил следователь, садясь на единственную колченогую табуретку и все еще никак не придя в себя от охватившего его головокружения, немедленно после того, как он переступил порог кутка.

– А вот рыбку... к общему знаменателю привожу-с... лишаю ее, так сказать, органов мышления, непригодных в настоящий момент к употреблению в пищу, ибо головки их разложением одержимы-с... Чем могу служить?

Следователь, обращаясь почти ко всем на «ты», Грише почему-то говорил «вы». Как-то язык у него не поворачивался сказать Грише «ты».

– Есть у меня к вам еще несколько дополнительных вопросов, касающихся убийства Мустафы Ахтырова. Садитесь. Что вы стоите?

Гриша выронил косарь и медленно опустился на край дощатой койки, покрытой рваным одеялом. Кончики тонких пальцев мелко задрожали.

– Чем могу-с... – пролепетал он.

– Да ничего особенного, – спокойно сказал следователь, косясь на Гришины пальцы, – вот есть тут непонятный моментик... Значит, с берега вы пошли прямо в слободскую пивную. Так?

– Да... в пивную, того-с...

– Жигулевского пива выпить? – ободряюще улыбнулся следователь.

– Жигулевского пива-с...

– Так. И все время, до пяти часов вечера, вы сидели в пивной?

– Как я уже имел удовольствие вам докладывать на нашей первой мирной беседе... до вечера, то есть до пяти часов, я именно там пребывал-с.

– И никуда не уходили?

Гриша смутился, густо покраснел и через силу выдавил:

– Никуда-с.

– Никуда? – возмутился Макаров.

– Пожалуй – никуда.

– Лжете! И лжете неумело, потому что краснеете. Вот я вам сейчас прочту показания вашего саботыльника, сапожника Якова Меджитова.

Следователь порылся в портфеле, достал показания Ялика и начал читать:

– «...посидев немного и выпив кружку пива, Григорий Банный вдруг вскочил, куда-то ушел и вернулся только через час...»

– Оптический обман... – бледный, как новина, прошептал Гриша.

– «...он был какой-то не в себе; на лбу у него была свежая ссадина...» Правильны эти показания или нет? Как по-вашему?

– Да... правильны... – чуть слышно проговорил Гриша.

Следователь даже вспотел от удовольствия: все становилось ясным.

– Где вы были?

Гриша молчал.

– Я вас спрашиваю, где вы были?

– К Аксинье Тимофеевне ходил... – снова краснея, ответил Гриша.

– К какой это Аксинье Тимофеевне? – бешено крикнул следователь, предчувствуя катастрофу.

– Ее люди по глупости своей, свойственной вообще двуногим, называют Аксюшой-дурочкой... И напрасно, ибо она далеко не глупый человек-с.

– А что вы у нее делали? – багровея, закричал еще пуще Макаров.

– То есть, как это... что? – скромно потупив глаза на леща, смутился Гриша.

– Да! Что? Что вы там делали, я вас спрашиваю?

– По интимным делам-с...

– По каким таким интимным делам?

– Предложеннице я ей делал, с вашего позволения, весьма интимного свойства. Замысел этот, доложу я вам, созрел у меня еще на Пасху... И первое наступление в этом направлении я повел весной, в лодке, когда мы ехали вдвоем с Аксиньей Тимофеевной через Волгу, и даже попытался, к моему стыду, тут же, в лодке, провести сие намерение в жизнь путем небольшого усилия с моей стороны-с... Но был жестоко побит кормовым веслом и до самого прибытия в село находился в бессознательном состоянии, лежа на дне лодки, как раздавленный ногою путника червяк-с... Однако сия первая неудача не остановила меня в моем намерении. В тот печальный день, когда зарубили Мустафу Алимыха, я имел очень приятный разговор с Аксиньей Тимофеевной на берегу. Рассказав ей несколько веселых анекдотов из области физики, знания в которой почерпнуты мною из книги Поморцева М. М. еще в тысяча девятьсот двадцатом году, вызвав, таким образом, улыбку на лице Аксиньи Тимофеевны, я осведомился: не могу ли я прибыть к ней в гости. Она ничего не ответила, только легко ударила меня мокрым бельем по лицу-с... Я перевел это движение как душевное кокетство и как знак согласия с ее стороны. Вот почему, выпив кружку пива, я немедленно покинул сапожника Ялика, отправился к Аксинье Тимофеевне и целый час провел не на земле, доложу я вам, а на небесах... Аксинья Тимофеевна были очень добры и многое позволили мне, о чем из скромности умолчу... Но счастье, доложу я вам, как и все на земле, недолговечно: с полдней пришла их старушка, то есть мамаша, и, пробравшись как тать, на сеновал, где мы с Аксиньей Тимофеевной возлежали на ароматном сене, сия старушка попыталась накинуть на меня петлю, заранее изготовленную из вожжей и, таким образом, лишить меня возможности двигаться. В случае удачной подобной операции, о дальнейших намерениях старушки не могу сообщить, ибо она мне их не поведала. Но судя по отдельным обещаниям в виде злобных выкриков, как-то:

«удаплю поганого соблазнителя честных девушек в хлеву, на глазах у коров...», судя по этому обещанию, ее намерения не предвещали ничего хорошего для меня-с... Движимый исключительно острым в таких случаях инстинктом самосохранения, я сравнительно ловко ускользнул от брошенной на меня большой петли, удивительно напомилавшей ковбойскую петлю, коей ловят диких мустангов, и прыгнул в длинный и узкий ящик, по которому, как вам известно, спускают сено в хлев. При падении ушиб, замечу вам, колено и лоб... В глазах произошло светопредставление, как при разрядке лейденской банки-с... Открыв дверцу, я молниеносно и легко, как белоснежная чайка, выпорхнул в хлев и вступил обеими ногами в нечто коровье, о чем умолчу. Из хлева я пробрался на двор, со двора – на улицу и очень быстро побежал поза домами назад в пивную, подгоняемый, как кнотом, воспоминаниями о петле для мустангов. В высшей степени огорченный сим печальным недоразумением, происшедшим, доложу я вам, главным образом по вине старушки и ее странного поведения, я пришел в вышеупомянутую пивную в состоянии крайней меланхолии, которая, как я теперь понимаю, и показалась подозрительной моему другу сапожнику Ялику-с... И долго еще после этого мучили меня черная меланхолия и кошмарные видения по ночам: мне снились каждую ночь прерии и скачущие ковбои, лица коих удивительно напоминали искаженное гневом лицо старушки-с... Кстати, о сновидениях; не приходилось ли вам в жизни наблюдать такую комбинацию: если обыкновенному козлу сказать на ухо перед сном какую-нибудь двусмысленную вольность, то ночью, около двенадцати часов, упомянутый козел громко закричит, и в его бляении вы сможете отчетливо услышать именно нецензурную часть вашей двусмыслицы... Вот попробуйте как-нибудь на досуге устроить над вашим домашним козлом подобный эксперимент, и вы будете вознаграждены чудесными открытиями из области козлиной психологии...

Следователь безнадежно махнул рукой, крепко выругался и, схватив портфель, убежал, как ошпаренный, из кутка.

Гриша Банный пожал худыми плечами, тихо притворил дверь и отрубил косарем голову лещу средней величины.

– Оптический обман, а не человек-с...

### ХІІІ

Настя Потапова дала согласие Кириллу Бушуеву выйти за него замуж. Свадьба состоялась в середине июля, после Петрова дня. Единственная церковь, сохранившаяся в округе, находилась в селе Спасском, в пяти километрах от Отважного, но венчаться, несмотря на уговоры родителей, молодые наотрез отказались, – боясь, что засмеют товарищи и подружки. Брак был заключен гражданским порядком в сельсовете. Но встречали их из сельсовета все-таки с иконой, которую держал отец Насти, Илья Ильич, глубоко и искренне верующий в Бога старик.

День выдался солнечный, но не жаркий, с ветерком. Свадьбу справляли в доме Потаповых. Поначалу думали справлять у Бушуевых, но, подсчитав гостей, которых набралось около тридцати человек, решили, что в бушуевском доме места на всех не хватит. Денег наскребли достаточно. Дали и Бушуевы, дали и Потаповы. Дал пятьсот рублей и дед Северьян.

Из сельсовета молодые ехали на тарантасе, запряженном парой жеребцов и взятом напрокат у председателя колхоза соседней деревни. За кучера был сам дружка – закадычный друг жениха Мотик Чалкин. Он лихо подъехал к потаповскому дому, врехался на полном скаку в пеструю, разряженную толпу гостей, ожидавших молодых, круто осадил, прыжком соскочил с козел, небрежно поправил на левом плече вышитое белое полотенце и развязно подал руку невесте.

– Принимай молодых! – закричал он. – Народ, р-разойдись!.. Дай законно сочетавшимся в дом пройти!.. Денис, убери грабли с дороги! Кой дурак их тут поставил?

– Не больно законный брак-от, не больно законный! – качала головой тетка Таисия, стоявшая в толпе гостей. – Без Божьего благословения законного брака быть не может.

Молодые прошли в дом. Высокий и сутулый Илья Ильич благословил их, блеснул слезой, посетовал, что нет жены, которая посмотрела бы на свадьбу дочери, порадовалась бы вместе с ним: схоронил он жену три года назад. Гости стали рассаживаться за накрытые столы. Под иконы, в передний угол просторной, но теперь казавшейся тесной горницы, в конце первого стола (всего было два) посадили молодых.

Кирилл блестел шелковой голубой рубахой и подсахаренными волосами. Он был вдвое выше своей невесты, маленькой, белобрысенькой, бледненькой и плохо понимавшей свою роль девушки. Она все время молчала, тупо и невесело посматривала на оживленных гостей и с нетерпением, видимо, ожидала окончания нерадующей ее церемонии.

Но дело только начиналось.

– Ну-к, что ж, поздравим, стало быть с конца на конец, молодых! – крикнул Ананий Северьяныч.

Держа в руке маленький стаканчик, он подошел к сыну, крепко расцеловал его, вытер рукавом рот и поцеловал невесту. От охватившего его радостного чувства он хотел было почесать спину и закинул уже руку через плечо, но быстро отдернул ее назад – неудобным показалось чесаться на свадьбе. За ним потянулись целоваться с молодыми Илья Ильич, Ульяновна, родня, гости...

Выпили все дружно, с побрякиваниями, со вкусом. Ананий Северьяныч за всю свадьбу только и выпил этот первый маленький стаканчик, больше, несмотря на уговоры гостей, не пил, – знал, что нельзя, иначе запьет мучительным и долгим запоем, а запивать летом не хотел. Зато Илья Ильич напился быстро и основательно.

– Ананий! – кричал он в ухо Бушуеву. – Теперь родня мы с тобой... Кто знал, а?

Кирилл облизывал губы и глупо ухмылялся.

Дед Северьян сидел возле двери на конце стола рядом с Денисом, не пил, но усиленно подливал водку в стакан внука.

– А ну, бурлак, посмотрю я, какой ты крепости на винцо. Есть ли в тебе бушуевская закваска.

– Дедушка, сам-то ты не пьешь... А меня учишь...

– Я старик, а ты молодой.

Пил Денис так много первый раз в жизни и с великим удовольствием. Щеки его заливал румянец, карие глаза блестели. В голове шумело. На сердце было радостно и легко, гости казались хорошими, близкими, радушными. Он хотел что-нибудь сочинить, частушку какую-нибудь, и пропеть ее вслух, но голова плохо соображала, и придумать он ничего не мог, как ни бился.

Мишка Потапов поминутно подходил к сестре, дышал ей в лицо водочным перегаром и целовал в губы.

– Отгуляла сестрица... Теперь – мужняя жена!

Хватал гармошку, неистово растягивал красные меха и жарил «барыню». Мотик Чалкин, выбрасывая кривые ноги, плясал впрысдку и напевал:

Ой, барыня, барыня,  
Расскажи, сударыня,  
Как в двадцатом барыня  
Утикла, сударыня?..

– Мотик! Ты тут революцию не разводи! – прикрикнул на него Ананий Северьяныч. – Пой, стало быть с конца на конец, что душе приятно.

Мишка Потапов оборвал «барыню», сделал несколько переборов и басом, покрывая шум голосов и звон стаканов, запел:

...Эх, вниз по Во-о-лге реке,  
С Нижня Но-о-вгорода-а...

И подхватили дружно гости, и полилась за душу хватающая песня, широко и могуче, как вешний поток, выливаясь на улицу из раскрытых настезь окон:

...Снаряжен стру-у-ужок  
Как стрела-а лети-ит...

Пели все: и молодые, и старые, и мужчины, и женщины; пели, переживая песню, закрывая глаза и раздувая ноздри.

...Как на том на стружке,  
На снаря-а-аженном,  
Удалы-их гребцов  
Сорок два-а сидят...

Под окнами, цепляясь за палисадник, слушали мальчишки. Взрослые останавливались, коротко бросали:

– Хорошо поют.

– Поют, черти... Не смотри, что пьяные.

Дед Северьян подливал внуку то водку, то пиво, то смородинную настойку.

– А ну-ка, бурлак,хвати вот этого.

– Д-давай, дедушка!.. Мне в-все нипочем... – лепетал заплетающимся языком Денис. – Мне в-все равно... Я в-все могу пить... Почему это у тебя борода шире стала? А Кирюшка пополам колется и опять с-складывается... П-почему это? А? Дедушка?

– А это Кирюшка перед женитьбой воздуху набирается.

– А з-зачем он воздуху набирается?

– Чтоб силы прибавилось.

– А зачем, чтоб силы прибавилось?

Дед улыбнулся изуродованной губой и предложил:

– А ну-ка, Дениска, встань да пройдишь по одной половине.

– П-пройтись?

– Попробуй.

Денис с невероятными усилиями встал, но голова так закружилась, так завертелось все вокруг: и комната, и столы, и гости, – что он судорожно схватился за плечо деда, чувствуя в то же время страшные спазмы в животе. Дед Северьян схватил его в охапку и быстро вынес на крыльцо. В ту же секунду изо рта и носа Дениса хлынуло что-то жидкое, противное, захватывающее дыхание. Придерживая голову внука за копну белокурых волос, дед Северьян старался перегнуть его тело через перила, чтобы не запачкать крыльцо. Выбежавшая вслед за ним Ульяновна набросилась на старика:

– Ой, дурень! Ой, старый леший! Гляди-ко-сь, что сотворил с мальчонкой... Креста на тебе нет.

– Ничего, Ульяновна... Поболит маненько, да опять здоровый будет, а вот вино закается пить надолго.

– Дедушка... помру я... обязательно помру... – стонал Денис.

– Не помрешь, даст Бог, – утешал его дед, – вот немного полегшает, опять пойдем водочку пить...

Денис рванулся всем телом из рук старика.

– Не пойду!

– Пойдешь.

– Не пойду! Лучше убей меня здесь...

– Да не мучь ты его, Христа ради! – умоляла сердобольная Ульяновна, – отведи в избу да спать положи.

– Зачем спать? Погулять еще надо, – советовал дед.

– Ой, дедушка... ой, миленький... отведи ты меня домой... – молил Денис.

Дед Северьян по-молодому весело блеснул глазами, обнял внука за плечи и повел домой, к великому утешению матери. По дороге он тихо спрашивал у Дениса:

– Будешь еще пить?

– Нет.

– То-то... Вино, бурлак, наша русская смерть. Может, брат, вся моя жисть другой бы стежкой пошла, если б не эта погибель...

Денис крепко прижался к старику, ему было тепло и уютно. Вечерело. На небе зажиглись первые бледные звезды.

Свадьба затянулась далеко за полночь. Обошлось все по-хорошему: без скандалов и драк. Ночевали молодые в потаповском доме, в чулане, куда была поставлена двухспальная кровать с высокой пирамидой из белоснежных подушек.

Ахтыровых на свадьбе не было, – не рискнули пригласить, боясь свести их с дедом Северьяном за хмельным столом. А раньше дружба была крепкая...

## XIV

Семейная жизнь Алима не налаживалась. Казалось бы, что после смерти Мустафы общее горе должно было сблизить мужа и жену хоть на некоторое время. Но вышло наоборот: Манефа стала еще больше ненавидеть мужа. Все в нем внушало ей брезгливость и отвращение: и побритая голова, и хромовые сапоги, и манера ходить, садиться, есть... Алим страдал, – страдал тяжело, болезненно. Манефа пробовала иногда пересилить неприязненное чувство к мужу, старалась не видеть в нем того, что ее раздражало, старалась, хоть бы внешне, быть внимательней к нему, но это длилось недолго, до первой вспышки сердца, когда прорывалось настоящее, искреннее, злобное, неудовлетворенное – и все снова шло к чёрту. Неделю-две Манефа видеть не могла мужа. Чуткий Алим в этот период вражды избегал попадаться жене на глаза, не настаивал на своем супружеском праве, терпеливо, сцепив зубы, дожидался своего часа, чтобы со всей страстью измученного человека жадно съесть те крохи иллюзорного счастья, которые иногда бросала ему жена.

Алим знал, что началом конца будет день, когда Манефа изменит ему. Об этом он старался не думать, был не в силах объять всего ужаса, который представлялся ему в этом случае. Но Манефа ему не изменяла. Твердо, с детства, не без участия старообрядки-матери, она знала, что измена мужу непростительна и страшна: это – путь, по которому женщина никогда не придет к счастью. В минуты диких сцен с мужем она иногда обещала:

– Подожди, брошу тебя и уйду к другому!

Говорила она это только затем, чтобы больней уколоть Алима. «Другого» не было, и уходить было не к кому.

– Тогда убью! – предупреждал он.

– И это хорошо: сразу отмучаемся, и ты и я.

Алим подходил к жене, губы его дрожали, в черных глазах – боль и бесконечная нежность.

– Маня, милая, пойми: люблю я тебя, люблю... Жить хочу с тобой... Как мы можем жить! Как хорошо мы можем жить!.. Ну не гони ты меня... не гони, Маня... Что я тебе сделал? За что ты меня ненавидишь? Маня, милая...

Манефа пускала в ход самый сильный козырь, самую острую и жгучую стрелу:

– Я дитя хочу.

Это была неправда. От Алима она даже и ребенка не хотела иметь.

– Так давай возьмем... на воспитание... – раздувая ноздри и тяжело дыша, предлагал Алим.

– Не хочу чужого... Мне свой нужен... Мой! Слышишь: мой, родной, кровный, а не чужой подзаборник!

– Маня..

– Уйди!

– Маня...

– Уйди, говорю... У-у, дьявол бесплодный! – и, сверкнув глазами, она быстро уходила в кухню, набросив крючок на дверь.

Алим сжимал бритую голову короткими пухлыми пальцами и, подкошенный горем и бессильной яростью, валялся на постель, закусывая белыми зубами угол подушки...

Жизнь превращалась в ад.

## XV

Наступил покос. Земли у отважинцев только и было, что заливные луга пониже села. Да, собственно говоря, в земле они и не нуждались, ибо ни они, ни их деды, ни их прадеды земледелием не занимались. Корма требовалось не много – держали только коров, по одной на семью, да некоторые – овец, и заливные луга давали нужный запас сена с лихвой на целый год.

Заря едва занималась, когда отважинцы почти всем селом вышли на покос. Вышел и архитектор Белецкий, находивший в косьбе огромное удовольствие и никогда не пропускавший случая махнуть вместе с народом косой.

Поеживаясь от утренней свежести, Денис шел рядом с Белецким и подтрунивал над Годуном:

– А ты, Васька, зря идешь. Ведь два раза махнешь косой – и дух вон. Знаю я тебя.

– А сам-то ты в прошлом году и до кладбища не дошел, разов пять приседал. Эх, как тебя люди-то обогнали! Стыдобушка! – переходил в контратаку Васька.

– Искусство-с своего рода... – вмешивался в разговор уныло шагавший сзади Гриша Банный. – Я, к примеру, косец плохой. Размаху нужного нет у меня, а ежели размахнусь, то в случае необходимости остановиться не могу... Так в двадцатом году, вследствие этой моей странности, я перекошил пополам-с небольшую индюшку, подвернувшуюся под руку, за что и был основательно наказан.

На лугах косцы быстро разобрались и встали по местам. Белецкий с наслаждением вдыхал холодный, как мята, утренний воздух и весело посматривал по сторонам. Кругом стояла высокая, сочная трава вперемешку с яркими цветами. Пахло ромашкой и диким луком. Луга окаймлял с трех сторон лесок из осин, березок и ольхи. С четвертой стороны луг спускался к Волге. На краю леска виднелось кладбище, там росли высокие старые березы, в тени которых белели кресты и надмогильные камни.

Косьба началась. Первым пошел дед Северьян. Почти не сгибаясь, он широкими взмахами, большой косой, специально сделанной по его росту, резал мокрую, сочную траву и ровным рядом укладывал ее. Выждав, когда дед Северьян отошел шагов пять-шесть, сразу же за ним пошел Илья Ильич Потапов, за Потаповым – пристанщик Ямкин, потом – Ананий Северьяныч, и так, один за другим, косцы двинулись через луг.

Звенели косы. Летели шутки, перебранки и смех. Иногда в общий гул врывался звук бруска, шаркающего по железу – кто-то подтачивал косу.

Денис шел за Манефой. После Троицы они встречались еще несколько раз, и всегда при встрече Денису было как-то не по себе, – он чувствовал себя виноватым. Манефа же молча проходила мимо, не глядя на него. На страдную пору она приехала в Отважное помочь матери управиться с косьбой. Денису было неприятно, что косить им пришлось рядом. Вначале Манефа не обращала на него никакого внимания, только изредка оглядывалась, чтобы проверить ровность бровки скошенной травы, и тогда заодно бросала равнодушный взгляд на соседа. Но чем ближе подходили к лесу, чем горячее становилась работа, тем все веселее и разговорчивее делалась и она. Началось с того, что вдруг она повернулась и задорно бросила:

– Эх, Дениска, отстаешь ты. Это тебе не частушки сочинять на добрых людей... Здесь силу покажи.

И Денис понял, что она простила его. Манефа косила легко и красиво, чуть покачивая круглыми плечами, ровно дыша и полуоткрыв губы. В прищуренных глазах блестели искорки удовольствия.

– Отстаешь, Денис?

– Нет.

Денис в самом деле не отставал. Поймав нужный ритм, он работал легко, следя только за тем, чтобы не ударить косу о камни. При спуске с небольшой горки он удвоил темп и быстро догнал Манефу.

– Смотри, чертенок... здоровый какой! – тихо и восхищенно сказала Манефа, окинув взглядом гибкую фигуру Дениса.

За Денисом шел Годун, за Годуном – Белецкий, за Белецким – спотыкающийся Гриша Банный. Он часто останавливался, с недоумением оглядывал косу и качал дынеобразной головой.

– Тупая-с... непомерно тупая-с...

– А вы ее, Григорий Григорьевич, подточите! – советовал Белецкий.

Гриша уныло шаркал брусом по косе, поплевав на руки, снова принимался за работу, но через несколько минут останавливался и жаловался:

– Харч плохой... Откуда же сил взять?

– Так вы тогда передохните, – предлагал, не останавливаясь, разгоряченный и вспотевший архитектор.

– Пожалуй-с...

Солнце подымалось все выше и выше. Работать становилось трудней. Окашивая бугорок, Манефа не рассчитала взмаха и шаркнула себя острой косой по голой ноге выше щиколотки.

– Ой! – испуганно вскрикнула она, опускаясь на землю.

Денис бросил косу и побежал к ней.

– Ты чего?

– Ногу... Посмотри, Денис, глубоко?

Денис присел на корточки, посмотрел: рана была большая, ручьем хлестала темная кровь. Манефа сорвала с головы белый платок, тряхнула по привычке головой, приводя в порядок короткие черные волосы, и протянула платок Денису.

– На, перевяжи...

Она повалилась на спину и закрыла ладонью глаза. Перевязывая полную загорелую ногу, Денис старался не смотреть на круглое с ямочками колено, высунувшееся из-под клетчатой юбки, оно резало глаза и волновало непонятным горячим чувством.

Подошли люди.

– Одна, стало быть с конца на конец, откосилась... – почесывая спину, спокойно сказал Ананий Северьяныч.

– Идти сможете? – спросил Белецкий.

– Попробую.

Она встала, чуть пошатнулась, припав на больную ногу, и, улыбнувшись через силу, коротко ответила:

– Смогу.

– Гриша, друг! Проводи-ка ты ее в село, все одно толк от тебя небольшой, – посоветовал Ананий Северьяныч.

– Небольшой-с, Ананий Северьяныч, небольшой, – быстро согласился Гриша, – провожу с моим великим удовольствием. Обязанность каждого сознательного человека помогать другому в несчастье... Вот если б все государственные деятели преследовали сию благородную цель, то человечество очень бы скоро пришло к всеобщему ликованию...

– Ну, ступайте, ступайте с Богом, – прервал его Ананий Северьяныч, – да идите только до дороги, а там маленько посидите. Спасские мужики за кирпичом на завод поедут, так попросите их подвезти...

Денису очень хотелось пойти с ними, но попросить отца он не решился. Опираясь рукой на худое плечо Гриши, Манефа тихо побрела к лесу, прихрамывая и опустив голову, – видно было, что рана сильно болела и каждый шаг приносил муки.

Часам к десяти, когда солнце стояло уже высоко и спала совсем роса, косцы стали собираться на обед. Из леса прибежали девочки с корзинками, наполненными пахучей лесной малиной. Прибежала вместе с подругами и Финочка Колосова. Денис и Васька решили сделать налет на частную собственность девочек и выработали для этого специальный план, состоявший в том, чтобы заманить не подозревающих ничего собственниц на берег Волги, подальше от глаз косцов, которые могли помешать налету.

– Девчата! – объявил таинственно Васька, – вы видели утопленника, что к лугам прибило?

– Нет! – хором ответили девочки.

– Пойдемте смотреть! – предложил он.

И вся ватага, предводительствуемая Васькой Годуном, с визгом понеслась на берег. Едва только они оказались за горой в кустах орешника, как Васька первый запустил руку в корзинку Маши Ямкиной. Денис, подражая ему, сунул руку в корзинку четырнадцатилетней Сони и крепко сжал пальцами, захватывая в горсть, мягкие сочные ягоды. Обман был тут же обнаружен, и девочки с пискom бросились в отступление.

– Денис! Дурак! Как тебе не стыдно! – возмущенно крикнула Финочка, останавливаясь и загоразивая собою заплакавшую Соню.

– Кто дурак? – вскипел сразу, по-бушуевски, Денис.

– Ты, – бледнея, крикнула ему в лицо Финочка.

– Я?!. На вот тебе! – и Денис пнул ногой Финочкину корзинку.

Поломанная корзинка выпала из ее руки и полетела в кусты, красным дождем рассыпались по траве ягоды. Финочка растерянно посмотрела на озорника, замигала ресницами и, сев на землю, горько заплакала. Заплакала не потому, что ей было жалко ягод, а потому, что обидел ее человек, в доброту которого она долго и твердо верила. Денис стоял перед ней, насупившись и неуклюже расставив ноги.

– Так тебе и надо... так и надо, – повторял он, не понимая в то же время, почему, собственно говоря, ей «так и надо».

Спрятав лицо в колени, Финочка всхлипывала, вздрагивая худенькими плечами. Кроме нее и Дениса, никого вокруг не было. Тихо перекликались в кустах орешника синицы, и мягко шелестели вечно подвижными листьями лиловые осины. Где-то на реке слышался однообразный всплеск весел.

– Зачем ты это сделал, Денис? А?

Денис вдруг остро и больно почувствовал всю нелепость своего поступка, наигранное равнодушие мигом слетело, он опустился на траву рядом с Финочкой и тронул рукой пушистые косы, уложенные в колечко на ее голове. Услышав его прикосновение, она приподняла лицо, блеснула слезинками на длинных ресницах и еле заметно, уголком пухлых губ, улыбнулась.

– Не будешь больше?

– Не буду... Прости меня, Финочка. Ладно? – попросил Денис дрогнувшим голосом, стараясь удержать наворачнувшиеся у самого на глаза слезы.

– Ладно... – согласилась девочка, – а корзинку разбил?

Но Денису казалось, что он еще очень мало сделал для того, чтобы его можно было простить, – прощать еще было не за что, требовалось сказать еще что-то, сильное, искреннее, теплое, – и он сказал совсем просто и неожиданно:

– Я тебя очень люблю, Финочка... Очень.

– И я тебя люблю, – опуская глаза, призналась, в свою очередь, девочка.

Денис подвинулся ближе к ней и крепко поцеловал в пухлые губки. Девочка вздохнула, посмотрела искоса на Дениса и, стремительно обвив его шею тоненькой ручкой, прижалась щекой к его плечу. Не зная, что делать дальше и как выйти из неловкого положения, они, смущенные, помолчали, поцеловались еще раз, и оба разом, уже веселые и счастливые, вскочили

на ноги, быстро подобрали рассыпанную малину и бегом пустились в гору, сверкая босыми ногами.

Так впервые познал Денис Бушуев горечь зла и радость добра, и долго, всю жизнь, он часто в минуты раздумья видел перед собой вздрагивающие от рыданий хрупкие плечики и счастливые, сияющие любовью глаза прощающей его Финочки.

## XVI

Еще находясь под сильным впечатлением истории с Финочкой, Денис, спустя несколько дней, лежал в одних трусиках на большом камне и сочинял стихи о любви. Было легко. Было удивительно легко и на душе, и легким казалось тело. Он и Финочка знали прекрасную тайну, только двое, и никто в мире больше не знал ее; Денис с сожалением и чувством превосходства посматривал на других людей...

Важная ворона косолапо ходила по низкой дощатой лаве, пила, забрасывая голову, теплую волжскую воду, косилась на Дениса и на стаи темных мальков, плавающих вокруг лавы.

Денис горел вдохновением. Щеки его пылали, руки мелко тряслись. Писал он быстро, легко, ерзая от удовольствия голым животом по камню.

Карандаш, попадая в ямки, протыкал бумагу. Денис отыскивал место поровнее и снова продолжал строчить. Никогда еще он не писал так складно и гладко. Он думал только о том, что хотел сказать, а слова приходили сами по себе и светились перед ним огненными буквами, он их видел...

Если раньше он часто спотыкался на рифме, искал ее, то теперь она мгновенно прилетала, да не одна, а сразу несколько: две, три, десять... Это было совершенно новое для него ощущение. Казалось, что он открыл какие-то большие красивые ворота и вошел в цветущий сад, где все сверкало на ослепительном солнце и кто-то играл на чудеснейших мелодичных инструментах, звуки которых плавно и мягко сливались с его строчками, в одно целое, неразрывное... Это были весна его тела и весна его духа, пришедшие одновременно, гармонически и слившиеся воедино в весну его жизни... Человек начинал свой деятельный, скорбный путь.

Солнце жгло ему спину, плечи, руки; внезапно он почувствовал сильное головокружение, и перед глазами заплывали разноцветные искры. Денис свесил голову с камня и окунул ее в воду. Сразу стало легче. Он хотел продолжать работу, но прежнего вдохновенного состояния уже не было, точно он смыл его водой. Тогда он сунул исписанные листки под одежду, лежавшую тут же на камне, и прыгнул в реку, взметнув снопы серебристых брызг.

С горы сошел Белецкий с бамбуковыми удочками на плече, в серых брюках, засученных до колена. Шляпа лихо была сдвинута на затылок, сквозь белую летнюю сетку чернели на груди смоляные волосы. Впереди отца, припрыгивая, с ведерком в руке бежала Варя.

– Как вода, Денис? Теплая? – весело крикнул Белецкий.

– Кипяток! Лезьте и вы за компанию! – предложил Денис, подплывая снова к камню.

– Папа! Можно и мне? – попросила Варя.

– Ну, полезай. Только поскорее. Мигом. Пока я удочки разбираю.

Девочка быстро сбросила через голову платье, осталась в голубеньком купальном костюме и храбро зашла в воду.

– Денис, можете вы меня научить нырять с камня? – морща носик от яркого солнца и повязывая голову косынкой, спросила она.

– А почему же – нет? Дело плевое: раз два и готово! Идите сюда.

– Смотри, Варька, треснешься головой о корягу... – предупредил отец.

– Я-то?

– Да, ты-то...

– Да тут коряг нет, – сообщил Денис, – тут очень глубоко.

Варя забралась к Денису на камень, они сели рядом, и Денис начал разъяснять.

– Лететь надо так: не очень круто и не очень отлого. Если очень круто, то тогда можно треснуться о дно, а если очень отлого, то живот отшибешь. Я один раз так-то прыгнул с пристани, так целых два дня ходил, как рак ошпаренный...

– Денис! – перебил его Белецкий, надевая червя на крючок, – а ты Шиллера прочитал?

– Еще не все, Николай Иванович... Тут мне две других книжки подвернулись, так я их сначала прочитал... Потом еще свадьба да покос помешали... После свадьбы я два дня болел.

– Что так?

– П-простудился... Так вы поняли, Варя, как надо лететь?... Теперь смотрите.

Он встал во весь рост, сдвинул ногой в сторону кучу своей одежды, чтобы попросторней было, вытянулся, легко оттолкнулся и плавно полетел в воду. Варе бросился в глаза белый листик бумаги, высунувшийся из-под Денисовой одежды, и, подстрекаемая любопытством, она немедленно взяла его, забыв про учителя плавания.

– «О моей любви к тебе»... – вслух прочитала она заглавие стихотворения. – Папа! Денис стихи про любовь пишет!

– Что такое?

– Честное слово!..

Вынырнувший из воды Денис заметил, к своему ужасу, стихи в руках Вари и сердито закричал:

– Варя! Положите на место!

Но девочка, заливаясь смехом, продолжала громко читать, не обращая внимания на автора.

– Положите, я вам говорю, на место! Это не честно!

– Варя! – строго крикнул отец. – Немедленно положи стихи. Что за мерзость!

Девочка сразу сделалась серьезной, сунула бумагу под одежду и, с обиженной физиономией, сползла на животе с камня.

Ах, как жарко пекло солнце! Как упоительно сверкало бирюзовое небо, как белоснежны были чайки, плавно носившиеся над тихой рекой. Но ни Денис, ни Варя не замечали и не чувствовали больше этой радости земли и неба. Они злобно, искоса поглядывали друг на друга. Денис вылез на берег и молча стал одеваться. Как глупо и нелепо нарушили его светлую тайну, как будто бросили тяжелый камень в тихое лесное озеро, доселе никогда не видевшее возле себя людей. Это был первый камень, брошенный в весну его жизни.

– Денис, кому же стихи предназначаются? – язвительно спросила Варя.

Денис хотел ответить что-то дерзкое, грубое, но вдруг он ясно себе представил Финочку, с ее добрыми глазами, услышал ее голос, и вся его злость сразу прошла. Ах, ведь никто ничего, в сущности, не понимает в том, что в его душе происходит. Ведь тайна-то открыта в ничтожной ее части, а весь золотой клад этой тайны спрятан глубоко в нем, и клад этот невидим и неосязаем для посторонних. Так кто же может отнять его? И Денис тихо и беззлобно рассмеялся.

– Кому предназначаются? – почти весело переспросил он. – Никому. Так... для себя... Мне.

– Во всяком случае, я думаю, что не тебе, Варвара, – приподнимая удочку, предположил Белецкий, заключая этими словами союз с Денисом. – Вылезай-ка, Варя.

Девочка, надув губы, вышла из воды и набросила на тело платье. Вся ее фигура выражала полное пренебрежение к поэту и независимость. Мысленно она призналась себе, что очень хотела бы получить стихи даже и от Дениса, но гордость не позволяла ей сделать хоть один шаг в этом направлении. Она презрительно бросила:

– Вот еще... очень мне нужно от всякого... мужика стихи получать.

Белецкий бросил удочки и вскочил на ноги.

– Варвара! – загремел он и грозно подошел к дочери. – А ну-ка, повтори, что ты сказала! Девочка не шелохнулась, опустила голову.

Молчание.

– Повтори, я говорю!

Длинные ресницы дрогнули, рука затеребила на груди пуговицу. Ни звука.

– Откуда это у тебя, я не понимаю? – понижая голос, удивился Белецкий. – Разве от меня ты что-нибудь подобное слышала? Или от мамы? И потом – это упрямство. Уж если ты сделала бестактность, то, по крайней мере, извинись, если ты порядочный человек. А ну-ка, сию секунду извинись!

Девочка продолжала молчать.

– Извинись, Варя... – совсем тихо попросил Белецкий, чувствуя, что дочь его победила и что он делает ошибку, переходя на просящий, почти заискивающий тон.

На девочку же, к его радости, это подействовало, ее столбняк прошел, она подняла голову, повернулась к Денису, раскрыла было рот, чтобы извиниться, но Дениса уже не было. Там, где он стоял, качались только потревоженные кусты тальника.

– Денис! Зачем ты ушел? Иди сюда! – закричала Варя. – Денис!

Но кругом было тихо. Где-то далеко слышались голоса купающихся детей.

– Нехорошо, Варя. Стыдно, – сокрушенно проговорил Белецкий и, вздыхая, пошел к удочкам.

Вечером Денис подстерег Финочку в проулке, наспех поцеловал ее в щеку и, сунув ей в руку листки со стихами, умчался домой, унося с собой то же чувство счастья, что и после покоса.

## XVII

Из Москвы приехал погостить на неделю к Белецким обожатель Жени – молодой кинорежиссер Ивашев. Высокий, сухощавый, со значительной лысинкой, в белом теннисном костюме – он целый день бродил по окрестностям Отважного и щелкал лейкой. Иногда садился в лодку и переезжал на другую сторону Волги.

В одну из таких прогулок он встретил на выгоне возле Татарской слободы женщину-крестьянку, поразившую его дикой русской красотой. Она шла по пыльной дороге с завязанным белой тряпкой подою на согнутой руке. Спокойная, уверенная и твердая походка придавала ей ту своеобразную грацию, которая есть только у простых русских женщин. Нигде в мире, кроме глухих русских деревень и сел, нельзя увидеть такую, почти мужскую, но в то же время полную женственности в каждом движении походку. Это какая-то сумма чувств, выраженная в движениях: тут и гордость, и страдание, и уверенность, и стыдливость...

Ивашев, прислонясь к березовым жердочкам выгона, пропустил незнакомку мимо себя, посмотрел ей вслед и, охваченный каким-то странным любопытством, не выдержал – окликнул:

– Одну минутку!

Женщина повернулась, прищурила на него серые, с хитрецей, глаза и улыбнулась по-женски беспричинно, чуть кокетливо.

Это была Манефа.

Ивашев подошел ближе к ней.

– Простите... не разрешите ли глоток молока... Так хочется пить.

– А пейте на здоровье, – мягким грудным голосом ответила Манефа, – только парное, не больно вкусное.

Она с готовностью поставила на землю подою, быстро развязала тряпку и отступила немного в сторону, поправляя выбившиеся из-под платка черные волосы. Ивашеву совсем не хотелось пить, но надо было выдержать роль до конца, и он, встав на колени, припал губами к жестяному подою с теплым, еще пенящимся молоком.

– Спасибо. Ух, как вкусно! Можно на память сфотографировать вас?

Она застенчиво рассмеялась.

– Нет, не надо... Я такая растрепанная... так не сймаются...

– Это ничего, это как раз и хорошо, – говорил Ивашев, суетливо переводя катушку с лентой. Он поставил на глаз метраж и щелкнул два раза затвором.

– Все. Простите, что я вас задержал.

– Ничего, – ответила уже опять с некоторым кокетством Манефа и подняла с земли подою. – Ну я пошла. Прощайте.

– Всего хорошего. До свиданья!

Ивашев пошел к лодке и несколько раз оборачивался, чтобы посмотреть на удаляющуюся фигуру Манефы.

– Какая женщина! Какая женщина! – восхищенно сказал он вслух и покачал головой.

Вечером, сидя за чаем на веранде Белецких, он вдруг вспомнил:

– Да! Забыл рассказать. Сегодня около Татарской слободы я встретил женщину, крестьянку, очевидно... Поразительной красоты!

Белецкий подносил ко рту в этот момент белый колобок, но, услышав последние слова Ивашева, положил колобок на стол и быстро спросил:

– Ну? Кто же это такая?

Анна Сергеевна, заметив излишнюю торопливость в вопросе мужа, улыбнулась, закусила губу.

– Не знаю. Я не спросил ее имени, растерялся.

Все рассмеялись.

– Блондинка, брюнетка? – поднимая голову от книги, поинтересовалась Женя, сидевшая в углу веранды на камышовом кресле.

– Брюнетка.

Все наперебой, включая и Варю, стали припоминать небольшой круг знакомых женщин в Татарской свободе, но как-то никто не вспомнил о Манефе, которую почти не знали, и разговор на эту тему прекратился. Анна Сергеевна была уверена, что уж и не такой поразительной красоты была встреченная Ивашевым женщина, и сообщить о ней Ивашев нашел нужным только для того, чтобы поинтриговать Женю.

После чая Белецкий и Ивашев вышли в сад и сели на лавочку под яблоней. На мягком черно-синем небе, какое бывает только в августе, сверкали крупные звезды, из-за леса поднимался алюминиевый диск луны. Звенели в траве кузнечики, хрипло кричали под горой коростели.

– Над чем же вы сейчас работаете, Николай Иванович? – спросил Ивашев, поправляя пенсне.

– Да все над «Дворцом пионеров». Надоел мне этот проект до чёртиков. А вы?

– Закончил вместе с писателем Алексеем Родиным литературный сценарий «Воскресения».

– По Толстому?

– Да, инсценировка.

– Что-то вы за классиков взялись. Второй фильм делаете и все инсценировки. То Гоголь, то Толстой. На классиках дорогу себе не пробьете, Алексей Алексеевич. Как бы то ни было, а инсценировка – произведение не оригинальное. Ну, предположим, сделаете хорошо. Ну похвалят вас, как за «Мертвые души» похвалили, а продвинуть – не продвинут и ордена не дадут, – добавил Белецкий с легкой усмешкой. – Вы бы взяли какого-нибудь советского автора, того же, скажем, Алексея Родина, вместе с ним махнули бы сценарий на современную героическую тему или на тему Гражданской войны да и поставили бы фильм... ну вы понимаете, одним словом, какой фильм. И все пути открыты! Сколько, например, дадут вам денег на постановку «Воскресения»?

– Тысяч восемьсот, может быть...

– А на такой фильм, о котором я говорю, не покусуются – миллиончика два отвалят. Тогда таких декораций настроите, что зритель только ахнет! Что ни кадр – новая декорация. На массовые сцены сражений – все силы московского военного округа вам дадут. Пушки надо – и пушки дадут. Самолеты? Сто эскадрилий запустят в поднебесье. Только делай. Делай, что требуется, делай то, что служит укреплению власти, что нужно партии и правительству. О чистом искусстве забудьте... Эх, вы, Алексей Алексеевич, шляпа, простите. Не за то беретесь, что сейчас надо.

Все это было сказано Белецким таким тоном, что Ивашев никак не мог понять: серьезно говорит его собеседник или иронизирует. Они были достаточно хорошо знакомы, чтобы доверять друг другу свои взгляды, не маскируясь друг перед другом.

– Это вы мне серьезно советуете? – недоверчиво спросил Ивашев. – Вы, человек с бездной вкуса и настоящий художник?

– Как хотите понимайте, – уклончиво, с улыбкой, ответил Белецкий.

И, подумав, уже без улыбки добавил:

– А если хотите более подробной расшифровки моей мысли, то послушайте следующее. Я говорю только о том, что надо улавливать темп, дух и запросы нашей эпохи. Нельзя жить вне времени и пространства. Все иллюзии о свободном искусстве пока надо оставить. Надо пытаться делать настоящие произведения хотя бы из того скудного материала, который нам

представляется. Мы, русские, от природы талантливые люди! У нас есть сотни имен, которым нет равных в мире, и творили эти люди, зачастую, в положении немного лучшем, а иногда и худшем, чем мы... Я видел в прошлом году в керженских лесах одного резчика по дереву. Потрясающие работы! А живет чёрт знает как! А – режет. Богатых и бедных в нашей стране не предполагается, хотя есть на самом деле и те и другие. Вернее – все нищие, одни материально, другие – духовно. Нас с вами раздели духовно, но взамен этого дали некоторое преимущество в материальном положении. Как это ни мерзко, но мы с вами представители новой советской аристократии. Я говорю «мы», имея в виду не только меня и вас, а всех более или менее заметных писателей, поэтов, композиторов, архитекторов, артистов, режиссеров, художников, скульпторов – словом, тех, кто имеет какое-то отношение к искусству, а искусство, в переводе на большевистский язык, означает пропаганду. Следовательно, мы, эта новая аристократия, мы один из главных винтиков большевистской машины. Мы, если хотите, оформляем в красивые рамки большевистское мировоззрение. Другой вопрос, которого я не хочу сейчас касаться, – преступление это с нашей стороны или нет. Я думаю: и мне и вам это ясно. Правительство великолепно понимает, какую гигантскую роль мы играем и, раздевая нас духовно, всячески поддерживает материально. Посмотрите: кругом нищета. Украина вымирает от голода. Мы же с вами пьем чай с вареньем, на столе у нас белый хлеб, масло, сыр, пирожки... Мы имеем дачи и собственные автомобили. И заметьте, мы ведь беспартийные. Теперь самый сложный вопрос: как и что мы должны творить? Я отвечаю на него просто: творить надо хорошо. Шопенгауэр делит все произведения на две категории: остающиеся и текущие. Так надо стремиться всеми силами к тому, чтобы наши произведения принадлежали к первой категории. Чтобы со временем наши потомки могли помянуть нас добрым словом за помощь, которую мы им окажем в изучении истории и нашей невеселой эпохи, в частности.

– Такие произведения не минуют сначала архива на Лубянской площади, – вставил Ивашев, – а их авторы – удовольствия созерцать Северное сияние.

– И никогда никто нас не обвинит, – продолжал Белецкий, как бы не заметив слов Ивашева, – за то, что мы оставим хорошие произведения. Вот, например, проектирую я этот «Дворец пионеров». Я хочу, чтоб он был великолепен, я прилагаю все усилия к этому, и мне совершенно безразлично, что будет в нем: пионеры ли, богадельня ли, или похоронное бюро на всю московскую область. Мне глубоко наплевать на все это. Я знаю одно, что пройдут года, а дом, выстроенный по моему проекту, будет стоять и перестоят, может быть, не одну эпоху. Ведь эпохи, они, знаете, иногда с головокружительной быстротой меняются. А домик-то останется и будет украшать кусочек отчизны. Вот, друг мой, что я хотел вам сказать.

Он чиркнул спичку и закурил. Ивашев молчал, чертя палочкой по земле. Выпрямился, сверкнул стеклами пенсне.

– В ваших рассуждениях, Николай Иванович, есть, однако, противоречия.

– А ну-ка?

– Во-первых, узко: одно дело архитектура, другое дело – искусство кино. Вещи разные. То, что вы можете делать в архитектуре, невозможно в кино. Во-вторых, уже принципиально, нельзя подменять свободу творчества нашей талантливостью. Это тоже вещи разные. Советую мне стать на путь этой замены, вы в то же время говорите о какой-то возможной вечности наших творений или, по крайней мере, многолетней живучести, забывая, что переживают художника только правдивые произведения.

– Совершенно справедливо.

– Следовательно...

– Следовательно, и стремитесь к правде, к объективности. Я говорю – стремитесь, ибо никто вам не разрешит и на полвершка приблизиться к абсолютной правде. Бывает, что художник вкладывает большую идею в произведение, а оно оказывается хорошо только своими лирическими отступлениями... Они-то и живут, ими-то мы и зачитываемся, а большая-то идея

оказывается Волгой, впадающей в Каспийское море... Так-то, вот, дорогой Алексей Алексеевич... Тихо как. А на луне даже горы видны, – переменял как-то некстати разговор Белецкий. – Посмотрите.

– Да, горы... – рассеянно согласился Ивашев.

– Пойдемте-ка спать, – предложил архитектор.

Они встали и не торопясь пошли к дому.

– Так, говорите, красива? – вдруг вспомнил Белецкий.

– Кто?

– А эта женщина, что вы в слободе встретили.

– Очень.

– Не перевязана ли у нее нога?

– Постойте... дайте припомнить... Нет, по-моему...

– Впрочем, это было уже давно... ногу она порезала. Я ведь знаю, о ком вы говорите, – улыбнулся Белецкий, – я ее видел на покосе. Чудо – как хороша...

С веранды сбежала Женя и, подхватив под руки отца и Ивашева, весело сообщила:

– Пришел Митрофан Вильгельмович, зовет вас в преферанс играть. Алексей Алексеевич, вы должны научить меня играть в карты.

## XVIII

Алим Ахтыров задумал праздновать день рождения жены. Ей исполнялось двадцать лет. Три дня шли приготовления. Как угорелый, Алим носился по слободе, доставая необходимые продукты, платил втридорога. За яблоками и за подарками жене ездил на пароходе в город. Подарок он тщательно спрятал от Манефы. Алим помогал Гриша Банный, Манефе – тетка Таисия, приехавшая на этот случай из Отважного.

Повеселевшая Манефа суетилась, пекла, жарила, варила... Даже к мужу в эти дни она относилась мягче, с долей некоторой нежности. Видя, что предстоящие торжества доставляют жене радость, Алим удваивал энергию и собирался, кажется, пригласить чуть ли не пол-слободы.

– Гриша, друг! – говорил он утром в день торжества Грише Банному. – Сходи, милый, к сапожнику Ялику и возьми у него мои новые сапоги. Скорей, друг, бегом!

Гриша с готовностью отправился и очень скоро вернулся.

– Ну что?

– Ялик говорит, что сапоги ваши еще не готовы-с.

– Что?!

– Но к пяти часам он обещает сделать. Я тогда еще раз схожу, вы не беспокойтесь, Алим Алимич.

– Ну это другое дело, – примирительно сказал Алим, вскипевший было при первых словах Гриши, и добавил: – А то бы я ему, хрену старому, башку оторвал.

Сбор гостей был назначен на шесть часов вечера. Тетка Таисия то и дело тормошила дочь:

– Маня, принеси-ка еще муки!

– Маня, дров!

– Маня, сходи по воду!

– Маня, подотри пол!

Манефа сердилась.

– Вы, мамаша, совсем меня затормошили. Маня – то! Маня – это! Ведь у меня не сто рук.

– А ты смотри на Алима: у него земля под ногами горит.

Тетка Таисия любила зятя и очень огорчалась тем, что муж с женой не дружно живут.

– Береги его, Манька, такого мужа больше не найдешь! Он души в тебе не чаёт, а ты, как дура, морду воротишь, – часто говорила она наставительно. – Бог знает, кого с кем соединить воедино. Значит – живи по-хорошему.

– Да ведь он татарин, – защищалась Манефа, пробуя сыграть на религиозной струнке старообрядки.

– Ну-к, что ж, что татарин, а человек он хороший. Ты ему и в подметку не годишься, дуреха этакая. И в кого ты только уродилась? Ты посмотри, каких он гор достиг: первый человек в слободе, все к нему – с уважением, с почтением... Эх, ты, квашня, квашня...

– И в Бога не верует. – атаковала Манефа.

– Ладно. Не твое дело. А сама-то веруешь?

– Нет.

– Ну и молчи! – приказывала старуха.

Весть о предстоящем веселье в доме председателя колхоза быстро разнеслась по слободе. Колхозники, встречая на улице Алима, подобострастно поздравляли:

– С праздничком вас, как бы, Алим Алимич...

– Спасибо, спасибо! – на ходу говорил счастливый Алим.

Колхозник долго провожал взглядом крепкую фигуру Алима, качал головой.

– Стараются, бегают, а она, поди, ведьма, насмехается над ним... Эх, слепые люди, – слепые, как щенки! – и думал о том, как бы и ему попасть вечером в дом Ахтыровых.

Некоторые принимали это событие по-другому и злобно замечали:

– Ему что не устраивать пирушки: казна в его руках. Наворовал, наверное, колхозного добра полны погреба. У нас штаны с задниц сваливаются, а он увеселяется, сатана. Эх, жизнь проклятушая! Кто смеется, а кто спиной гнется...

Гостей ожидалось около сорока человек: и слободских, и отважинских, и городских. Дал свое согласие даже и председатель райисполкома Патокин, с которым Алим находился в довольно близких отношениях. Патокин ценил Ахтырова как работника, любил как человека и протезировал ему. Когда встал вопрос о списках, которые нужно было представить в Москву правительству для награждений орденами лучших людей района, он одной из первых назвал фамилию Алима.

К пяти часам все было готово. В просторной горнице стоял накрытый стол, в виде буквы «П», составленный из пяти небольших столов. Белоснежные скатерти украшало бесконечное количество бутылок и закусок. Тут были и поросенок, и колбаса, и заливное, и водка, и перцовка, и спотыкач, и даже – подарок Патокина – бутылка портвейна. В общем, угощение стоило Ахтыровым полторы тысячи рублей, – ушли все деньги, до копейки, которые были у Алима.

– Гриша, беги, друг, беги за сапогами! – торопил приятеля Алим, устанавливая на табуретку бочонок с пивом.

– Лечу-с, одна нога здесь, другая там, – отозвался Гриша.

Он успел уже порядочно нагрузиться и был нескончаемо разговорчив.

– Если Ялик еще не кончил, то сиди у него, торопи, и чтоб, самое большее, через полчаса ты был тут с сапогами, – приказал Ахтыров.

– Слушаю-сь... Через полчаса я буду здесь. Но не разрешите ли вы мне, дорогой Алим Алимич, посетить одну особу, с которой у меня чрезвычайно важное дело. Это займет всего десять минут.

– Потом, Гриша, потом. Вечером али завтра сходишь. Какие у тебя там дела – пустое все. Беги, милый, беги.

– Бегу-с...

Манефа в голубом платье, ладно обтягивавшем ее полную фигуру, стояла перед зеркалом и примеряла бусы.

– Алим, может, вот эти одеть, желтые?

– Как хочешь, Маня, как хочешь, – соглашался Алим, и сердце его переполнялось счастьем. Давно, очень давно он не видел жену такой доброй и милой. Может быть, все пройдет? Может быть, настанет день, когда она полюбит его по-настоящему? Неужели такое счастье возможно? У него останавливалось сердце и дрожали руки при мысли об этом. Час тому назад он поднес подарок жене: коричневые изящные «городские» туфли на высоких каблуках. И хотя Манефа создавала, что она никогда их не наденет, не посмеет куда-нибудь выйти на высоких каблуках, да и ходить-то она в таких туфлях не умела, но крепко поцеловала мужа в губы и искренне поблагодарила.

Тетка Таисия, сложив на толстом животе руки, умильно смотрела на стол и качала головой.

– Добра-то сколько... Ай-я-яй, сколько добра... Небось на большие тыщи, зятек?

– Ничего, мамаша, ничего, – весело отвечал Алим, – надо ж и жене праздник устроить. Она у меня во какая... нарядная.

Он хотел сказать «красивая», но почему-то это слово не пожелало слететь с языка, и он его на ходу заменил на «нарядная».

– Ах, братца-то, Мустафы Алимича, нет. Посмотрел бы он на вас, порадовался бы, что все у вас на лад, вроде бы как, пошло... А то он бедный, и сам мучился, глядя на худое жите

ваше... – плаксиво проговорила тетка Таисия и даже всхлипнула от наплыва разнообразных чувств.

– Ну ладно, мамаша. Хватит. Не об этом сейчас речь... – быстро остановил ее Алим, заметив, что Манефа нахмурилась.

– Да чего? Я правду говорю. Тошнехонько на вас смотреть было, – не унималась старуха.

– Помолчите, мамаша... – тихо предупредила Манефа.

Алим мгновенно вскочил, взял за руку тещу и потащил ее в кухню.

– Посмотрите-ка, мамаша, не сварилась ли уха?

Тетка Таисия вздохнула, взяла ухват и полезла в печь, тыкая в воздух локтями.

В шестом часу Алим взволновано ходил в одних портянках по полу возле накрытого стола и злобно ругался:

– Чёрт! Ну и чёрт! Ну и рыжий остолоп! Куда же он запропастился? Неужели сапоги не готовы?

– Придет, никуда не денется... – утешала его Манефа. – Может, там какой гвоздик осталось вбить.

– Так пришел бы и сказал. Не голова у него на плечах, а мешок с сеном, у дурака у этого. Однако Гриша не приходил.

За несколько минут до шести Алим уже не на шутку разбушевался.

– Дьявол! Идиот! Я ему всю морду раскрою сапогами!

– Надевай старые, они еще хорошие, – посоветовала Манефа.

– Не хочу старые!

– Может, мне сбегать? – предложила тетка Таисия.

– Да куда ж бежать, мамаша? Вот-вот гости придут! – чуть не плача, запротестовал Алим и взглянул в окно. – Не видно рыжей белуги! Что он со мной делает, дохлый лещ!.. Вона и гости первые идут, Потехины идут, отец с сыном...

Он ударил в бешенстве себя по бокам.

– Надевай, говорю, старые! – почти приказала Манефа.

– Да они даже не чищены! – крикнул, багровея, Алим. – Хоть бы ты их почистила, догадалась.

– Да кто ж знал...

– Кто ж знал?.. А ну вас всех...

Глаза его забегали, в бессильной злобе он схватил со стола пустую тарелку и ударил ее об пол.

– Господи! – взмолилась тетка Таисия.

Выместив на тарелке злость, Алим опустился на табуретку и затих, увидев спокойно подходившую к нему Манефу и страшную в этом спокойствии. Лицо ее побледнело, серые глаза по-кошачьи сощурились, уголок рта чуть дергался.

– Это ты зачем? – еле слышно спросила она у мужа. – Характер показываешь?

– Я... я измучился, Маня.

– Измучился?.. Эх, ты! И посуду бить не умеешь!

Она быстро схватила за уголок скатерть и с силой рванула к себе... Со звоном, разбиваясь, падая, ломаясь, полетели на пол бутылки, тарелки, миски... С торжествующей улыбкой на алых губах Манефа сдернула вторую скатерть, третью, четвертую... Страшный грохот наполнил дом. Обнаженные некрашенные столы выглядели жалко и как-то стыдливо. По полу растекались огромные лужи вина, мешаясь с жареным мясом, яблоками, кружочками колбасы.

– Святители! – заголосила тетка Таисия, хватаясь в ужасе за голову. – Что она, окаянная, делает? Убейте ее! Убейте!

Манефа пнула ногой бочонок с пивом, скатила его с табуретки и, не оглядываясь, быстро прошла в кухню, а из кухни – в сад.

Алим тупо смотрел на учиненный погром. Руки его судорожно вцепились в лацканы пиджака. В остановившихся глазах блестели слезы.

– Маня... Маня...

Ему ни капли не жалко было побитого добра, он не думал и о гостях, он холодел от мысли, что с таким трудом сооруженное здание примирения так неожиданно и глупо рухнуло и разбилось вдребезги у его ног.

Все начиналось сызнова.

А в это же время на берегу Волги, на старом замшелом обрубе сидел Гриша Банный с Аксюшкой-дурочкой, обнимал ее за талию костлявой рукой и негромко рассказывал ей о том, как в двадцатом году он впервые познакомился с удивительными законами физики и о том, какие страшные повреждения может учинить человеку разорвавшийся артиллерийский снаряд. Под мышкой он держал новые хромовые сапоги.

## XIX

Поздний августовский вечер. В клочьях темных облаков плавно нырял зеленый серпик луны. Под сильным верховым ветром гнулись деревья, шумела Волга. Грустно стучала коло-тушка ночного сторожа – глухого старика Чижова.

В доме Бушуевых еще не спали. На кухне при свете керосиновой лампы Ульяновна гладила белье. Напротив нее, за тем же столом, сидел Денис и, наблюдая за уютгом и ловкими руками матери, слушал ее песни. Ульяновна пела так тихо, что иногда переходила на полусшепот, но сохраняя мелодию и отчетливо произнося слова.

Вся она – и черным простым платьем, и маленькой фигурой, и стрелками бесчисленных морщинок вокруг тихих скорбных глаз – излучала такой уют и такое тепло, что Денис готов был сидеть до утра и без конца смотреть на нее и слушать ее песни.

Горят, горят пожары, они всю неделюшку,  
Ничего в дикой степи не осталось... —

пела Ульяновна, и сердце Дениса наполнялось тихим и светлым успокоением.

Оставались в дикой степи горы крутые.  
Как на этих горах млад ясен сокол...

Денис очень любил песни, особенно когда их пела мать. А песен Ульяновна знала бесчисленное множество всяких: и свадебные песни заводила она, и посиделковые, и любовные, знала и «романсы», где льется кровь и сверкают ножи. Денис и сам уже много знал и запомнил из того, что пела она, но всякий раз Ульяновна вспоминала что-нибудь новое.

– Мамаша, спой «Липу вековую».

– Да что ты, Денисушка, к этой песне привязался? Что она тебе так полюбилась? – улыбнулась Ульяновна.

– Не знаю. Нравится она мне. Спой.

– Ну, слушай.

Липа вековая  
Под окном стоит.  
Песня удалая  
Вдалеке звенит.

Лес покрыт туманом,  
Словно пеленой.  
Слышен за курганом  
Лай сторожевой...

На полатах заворочался Ананий Северьяныч. Он еще не спал и мысленно подсчитывал предстоящие расходы по хозяйству, прислушиваясь в то же время к песням жены. Он не то чтобы любил песни, а слушал их иногда так – от нечего делать.

– Подожди, Денисушка, – оборвала сама себя Ульяновна, – вот я вспомнила хо-орошую одну... Слушай.

Колечко мое позлащенное, —

Ох, я с милым дружкой разлученная.  
Он давал-то мне ручку правую,  
Целовал меня в щеку алую.  
Не целуй меня, не уговаривай,  
Ох, не хочешь любить – не обманывай...

– Ульяновна! – перебил ее Ананий Северьяныч, свешивая сивую бороденку с полатей, – чегой-то мне третью ночь подряд белые ведмеди снятся? Как глаза закрою, так все на север еду, все на север...

– А ты на каком боку больше спишь? – улыбнулась Ульяновна.

– На левом.

– Так ты повернись на правый, тогда на юг поедешь.

– На юг, говоришь? – недоверчиво переспросил Ананий Северьяныч. – А вот я чичас попробую.

Но только было он улегся на правый бок, как в окно кто-то громко постучал. Денис толкнул раму.

Это был дед Северьян.

– Ананий! – громко крикнул он, просовывая лысую голову в дом.

– Чево тебе? – лениво отозвался с полатей Ананий Северьяныч.

– Красный бакен потух.

– Что?! Который? – тревожно спросил Бушуев, прыгая с полатей на пол и ошалело глядя на отца.

– Что возле гряды. Снизу буксирный идет, как бы не напоролся на камни без сигнала-то... – предупредил дед Северьян, скрываясь в темноте.

– Ах ты, пропасть какая! – выругался Ананий Северьяныч, натягивая на босые ноги кожаные сапоги. – Дениска! Зажигай запасной фонарь, да поедем, стало быть с конца на конец.

– Зачем же запасной фонарь брать? Зажжем тот, что на бакене, – сказал Денис, вставая из-за стола и подтягивая ремень на штанах.

– А ежели стекло на ем разбилось! – крикнул Ананий Северьяныч, удивляясь на недогадливость сына. – Ох, и дурень же ты, Дениска. Дурень стоеросовый!

– Темень-то, темень какая! – покачала головой Ульяновна, – и буря! Ты, отец, осторожней там, не потопитесь в Волге-то...

– Утопленников и без нас, Ульяновна, много плавает. Как-нибудь... с Божьей помощью не потопнем. Служба, Ульяновна, служба, – суется, заключил Ананий Северьяныч.

– Ну, храни вас Господь! – сказала Ульяновна, крестя воздух.

На берегу было темно и шумно. Месяц скрылся. Черные громады волн, шипя, накатывались на прибрежный гравий. Гнулись, трепеща листвою, кусты тальников. Денис долго не мог распутать узел веревки, которой лодка была привязана к коряге.

– Да что ты там: в карты что ль уселся играть? – крикнул на него отец, надевая весла на деревянные уключины.

– А ты, папаша, чем кричать – посветил бы!

– Так бы и сказал... Язык-от, чать, у тебя есть аль нет? – проворчал Ананий Северьяныч, поворачиваясь и подымая фонарь. – Ах ты, пропасть какая! И когда это только он потух, дьявол!

Из-за колена реки, сверкая огнями, медленно и бесшумно выростал буксирный пароход. Из-за рева ветра и волн не слышно было стука колес.

– Идет, проклятуший! Идет! – застонал Ананий Северьяныч, – торопись, Дениска, а то он и впрямь без сигнала-то брюхо о камни напорет... А мне лет десять дадут! Дадут, черти, дадут определенно.

Денис изо всех сил греб. Ананий Северьяныч сидел на корме и помогал Денису кормовым веслом. Утлый ботник швыряло с волны на волну, и казалось непонятным, как его не зальет водой.

– На отцовской лодке надо было ехать... – вздыхал Ананий Северьяныч, – та все-таки поболее будет... Ах ты, пропасть какая! Не опоздать бы. Лет десять, стало быть с конца на конец, мне дадут за аварию... Не зря мне белые ведмеди снились.

Когда ботник взлетал на гребень волны, Денис попадал веслом в яму, промахивался и обдавал брызгами Анания Северьяныча. Но Ананий Северьяныч не обращал на это внимания, он работал кормовиком и остро, по-хищному вглядывался в черные волны, отыскивая глазами потухший бакен.

На стрежне реки волны были ббльшие, чем у берега, но не дробились, а плавно вздыхали, шипя гребнями. Горевший на дне лодки фонарь, установленный в станину, сгущал и без того непроглядную темень. Ананий Северьяныч сбросил с плеч телогрейку и закутал ею фонарь. Непостижимо было, как и на что он ориентировался, управляя лодкой. Берега давно уже пропали в черноте ночи.

– Не сильно ли влево берем, папаша? – забеспокоился Денис.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.